

891.7
Ф275

Проф. Н. Н. ФАТОВ

А. С. НЕВЕРОВ

ОЧЕРК ЖИЗНИ
И ТВОРЧЕСТВА

РАБОЧЕЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО „ПРИБОЙ“
ЛЕНИНГРАД :: 1926

883982.

У 17

СОУНБ им. В. Г. Белинского
<http://book.ugraic.ru/>

883982
~~168661~~

11-646
ф-22

СОУНБ им. В. Г. Белинского
<http://book.ugraic.ru/>

1420

СОУНБ им. В. Г. Белинского
<http://book.ugais.ru/>



4-17

8-91.7

P 275

A red circular stamp or seal, possibly a library or collection mark, is located in the upper right corner of the page. It contains some illegible characters.

49

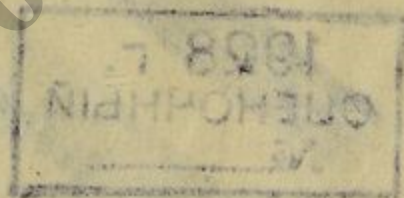
1928 г.
ОЦЕНОЧНЫЙ
№

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ОКРУЖНАЯ
БИБЛИОТЕКА
ИМЕНИ
В. Г. БИЛИНСКОГО

И. И. В. 1936 г. № 16866/1

РАБОЧЕЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО „ПРИБОЙ“
ЛЕНИНГРАД :: 1926

891.71:92



ПРЕДИСЛОВИЕ

Книга эта, которую я посвящаю светлой памяти Александра Сергеевича Неверова, была написана вскоре после его смерти и закончена год тому назад, к концу июля 1924 г.

Целью моей было дать возможность читателю ознакомиться с жизнью Неверова на основании тех материалов, которые сейчас доступны, и показать, что представляет собою творчество этого замечательного писателя, как со стороны содержания, так и со стороны формы. Соответственно этим целям и характер моей книги — скорее описательный, а не исследовательский.

В основу работы были положены, кроме произведений Неверова, материалы (в том числе его письма), любезно предоставленные в мое распоряжение женой умершего писателя — Пелагеей Андреевной Скобелевой-Неверовой, которой приношу мою горячую благодарность¹.

К сожалению, появиться в свет немедленно после написания этой книге не пришлось. Издательство, для которого она писалась (Рязанское Т-во), в виду сокращения своих планов, отказалось от ее издания, даже не взяв рукописи. Ряд других издательств, куда я обращался (в том числе Госиздат РСФСР, Ленгиз, ГИЗ Украины, „Московский Рабочий“ и др.) не сочли возможным издать такую большую книгу о Неверове. Не пожелали взять рукопись также „Коллектив раб.-крест. писателей им. Неверова“ и „Никитинские субботники“, для которых память Неверова должна бы быть особо дорога. Наконец, осенью 1924 г. книга была взята изд. „Земля и Фабрика“, которое, продержав рукопись более трех месяцев, предложило мне сократить ее до размера пяти печатных листов (вместо 12). Сделав возможные сокращения (были исключены: ряд цитат, некоторые материалы; сокращена глава о приемах творчества Неверова; опущены „Хронологическая канва жизни Неверова“, списки произведений Неверова, литературы о нем и пр.), в конце января 1925 г. я вновь передал рукопись в изд-во „Земля и Фабрика“². Продержав рукопись еще пять месяцев (несмотря на неоднократные мои требования дать ответ), указанное издательство в июне 1925 г. заявило мне, что отказывается от издания книги, которая и была тогда передана в изд-во „Прибой“, немедленно приступившее к ее печатанию.

За время с января по июнь 1925 г. мною была произведена большая работа по редактированию собрания сочинений Неверова (семь томов) для изд-ва „Земля и Фабрика“. В процессе работы удалось добыть значительное

¹ Кроме П. А. Неверовой, сообщившей мне также и свои необычайно ценные воспоминания об А. С.-че, я очень благодарен за материалы и воспоминания друзьям Неверова — писателям П. Н. Дорохову, Н. А. Степному и Ф. Е. Яровому, а также брату Неверова — П. С. Скобелеву.

² При переделке книги мною, разумеется, была принята во внимание вся вновь появившаяся литература о Неверове.

количество новых, неопубликованных материалов, ранее мне неизвестных, в том числе черновые рукописи Неверова, его записные книжки, письма Неверова и к Неверову, газетные вырезки и пр., а также значительное количество неизданных еще произведений Неверова, как законченных, так и набросков. Все это представляет большой интерес и во многом дополняет наши сведения о жизни и творчестве Неверова. Эти материалы были мною использованы для вводных статей и примечаний к собранию сочинений Неверова, в которых я старался, поскольку это было возможно, не повторять сказанного в этой книге, так чтобы они служили дополнением к ней и — наоборот; но, к сожалению, ред. коллегия „Земли и Фабрики“ нашла нужным значительно сократить публикуемые мною материалы и примечания.

В корректуре настоящей книги я имел возможность сделать лишь небольшие добавления, так как использование и опубликование имеющихся у меня новых материалов увеличило бы размеры книги на несколько печатных листов, а также и в силу того, что править корректуру мне пришлось не в Москве, а во время пребывания на курорте ¹.

Все это считаю нужным оговорить, во-первых, чтобы избавить себя и изд-во „Прибой“ от возможных упреков ², и, во-вторых, как характерные факты „посмертной судьбы“ Неверова, которому „не везло“ при жизни ³, да не особенно „везет“ и после смерти, раз опубликование первой популярной книги о нем встречало такие препятствия.

Предполагая продолжать свои работы по изучению жизни и творчества Неверова, я прошу всех т.т., знавших его, сообщить мне свои воспоминания о нем и особенно дать возможность ознакомиться с его письмами ⁴. Адресовать прошу в Москву, Трубниковский пер., 26, кв. 12 (тел. 2-45-72), профессору Николаю Николаевичу Фатову. Всякое сообщение будет принято с благодарностью, рукописи немедленно по использовании возвращены.

А в т о р.

Крым, Судак, 1925 г., июля 28-го.

¹ Цитируются произведения Неверова в этой книге также по старым изданиям, а не по тому тексту, который мне удалось установить для „Собрания Сочинений“.

² Считаю нужным указать еще и на то, что непропорциональность отдельных частей книги, между прочим — изложения биографии, объясняется наличием бывших в моих руках материалов, обильных в одних случаях и скудных в других.

³ См. интересную (но крайне небрежно написанную) статью П. Ярового „Сквозь строй“, в № 2 — 3 „Рабочего Журнала“ за 1925 г., особ. стр. 99—108.

⁴ Как видно из приводимых мною многочисленных цитат, письма Неверова представляют огромный интерес. Большое количество их, к сожалению, погибло (напр., много десятков, если не сотен, писем к жене — по ее словам, — целые связки), но все же и сохранившихся писем хватит на добрый том или даже два. Нет сомнения, что большое количество писем должно храниться у многочисленных друзей и знакомых Неверова, а также в архивах редакций и т. д. Прямой долг каждого, кому дорога память А. С-ча и кто понимает исключительную ценность всего, что вышло из-под его пера, содействовать опубликованию его писем. В издающееся под моей редакцией собр. соч. Неверова изд-во „Земля и Фабрика“ не сочло нужным включить (хотя бы избранные) письма Неверова, но, думаю, недалеко то время, когда они будут любовно собраны и изданы, и когда сможет появиться в свет действительно полное собрание всего, написанного Неверовым.

Вступление.

В декабре 1923 года неожиданно, в полном расцвете творческих сил, умер А. С. Неверов. История литературы поставит его имя на одно из первых мест в ряду пролетарских писателей революционной, Советской России.

Сын крестьянина, исключительно благодаря личной энергии с большим трудом добившийся возможности стать сельским учителем, Неверов в довоенное время был типичным представителем лучшей части нашей деревенской интеллигенции.

Еще в дооктябрьские годы он сумел войти в литературу, как признанный ее работник, и печатался в солидных журналах.

Он примыкал к той группе наших писателей, которая, будучи тесно связана с трудовыми массами, изображала подлинную жизнь стонущей под самодержавно-помещичьим гнетом Руси, изображала ее в реалистических тонах, просто, трезво, без истерических выкриков, не уходя ни в мир кошмаров,

¹ Во избежание недоразумений, считаю нужным оговориться, что я понимаю термин „пролетарский писатель“ не в узко-классовом смысле, а в том значении, в котором этот термин употреблялся на происходившем весной 1924 г. международном совещании пролетарских писателей, как приемлет его Всесоюзная Ассоциация Пролетарских Писателей (ВАПП) и как его понимали Г. В. Плеханов и В. И. Ленин,—т. е. считаю пролетарскими писателями тех, „кто организует своими произведениями мысли и чувства читателей в направлении к коммунизму“, кто воплощает в своем творчестве идеологию пролетариата. В этом смысле я говорю и о Неверове, как о представителе пролетарской литературы. Основа у Неверова была крестьянская; жизнь и события наложили на эту основу ряд напластований, приведших Неверова к пролетарски-коммунистическому мирозерцанию. Подробнее см. в моей статье: „Классовые корни творчества Неверова“ („Красная Новь“, 1924, № 7—8, декабрь, стр. 368—380).

ни в область мистических исканий, не стремясь коснуться „миров иных“, не зовя читателей в заоблачные выси своей мечты, к полному отрыву от реальных потребностей борьбы за освобождение трудящихся, как то делали писатели, связанные с психикой буржуазно-аристократических слоев или мелкобуржуазной, деклассированной интеллигенции.

Неверов примыкал к той группе русских писателей, во главе которой с честью шли В. Г. Короленко, Максим Горький, А. С. Серафимович, В. В. Вересаев и другие, менее заметные их соратники.

Но, хотя Неверов и сумел отвоевать себе место в литературе, все же в дореволюционные годы он казался второстепенным или даже третьестепенным писателем. Недостаточность образования, провинциальная узость кругозора, оторванность от культурных центров, материальная необеспеченность и ряд других причин—мешали ему выйти на большую, самостоятельную дорогу.

Он писал свои рассказы достаточно живо, литературно и правдиво, но содержание их было довольно однообразно, круг тем—ограничен, литературная манера казалась лишонною яркой оригинальности. Неверов мог считаться „подающим надежды“ писателем „из народа“, но особого внимания к себе не привлекал.

Пришла Великая Октябрьская Революция, и из „подающего надежды“ начинающего писателя Неверов сразу превратился в одну из первых величин нашей литературы. Революция оплодотворила Неверова; она разбудила скрытые, дремавшие ранее силы его исключительного и оригинального таланта; она дала ему содержание, дала темы, которых раньше недоставало, помогла выработать миросозерцание, зажгла его своим победным огнем. И Неверов сразу вспыхнул, как факел, как светоч, засветился ярким пламенем, нервным горением пропагандиста-агитатора, проникнувшегося пафосом коммунистического строительства.

К пролетарскому миросозерцанию Неверов пришел не сразу. До революции, живя в деревне, он скорее инстинктивно чувствовал всю глубину классовых противоречий, в которых жила тогдашняя Россия, чем мог осмыслить их теоретически.

Радостно встретив революцию, Неверов сначала также едва ли умел достаточно чётко разбираться в событиях, тем более, что одно время ему пришлось находиться в полосе чехо-словацкой

оккупации. Но огромное чутье жизни, связь с трудовыми массами, тонкая наблюдательность, классовый инстинкт и трезвый ум указали ему правильный путь.

И уже в 1913 г. он принимает деятельное участие в активной работе по строительству пролетарской культуры. Он умеет трезво смотреть на вещи. Он понимает, что тяжелые условия быта, разруха, неумелость, даже бесчестность отдельных лиц — это одно, а идеалы советского строительства — совершенно другое, и этим идеалам он все увереннее и увереннее начинает служить, быстро эволюционируя в сторону коммунистического миросозерцания.

Большое влияние оказал на него переезд в Москву, где он попал в более культурную среду, сошелся в общей работе с рядом партийных и коммунистически настроенных товарищей. Он без труда переходит из „попутчиков“ — в ряды подлинно-пролетарских писателей. Не входя официально в РКП, он принадлежал к тем „беспартийным“, которые прямо и честно идут по партийной линии, что получило свое закрепление в виде его участия в ряде левых партийных изданий.

Значительную долю энергии и времени Неверов отдает работе с массами, непосредственной пропаганде идей строительства новой жизни, исполняя роль писателя-агитатора по самым разнообразным вопросам, начиная от советов пользоваться сберегательными кассами, до руководства молодыми писательскими силами из среды рабочих и крестьян. Но, отдавая этой работе значительную долю своих сил, Неверов, разумеется, более всего стремился к осуществлению своих художественных замыслов.

Полный кипучей творческой энергии, полный планов и тем, лишь в незначительной части осуществленных, он в ряде своих вещей воплотил пафос нового строительства жизни, мастерски изобразил расслоение деревни, нарисовав галлерею типов старого и нового крестьянства. Не закрывая глаз на темные стороны нашей действительности, он, как подлинно-большой художник, умел выводить и светлое без всяких прикрас, без мешающей художественной правде узкой тенденциозности.

С чутким вниманием, с особой любовью к человеку он подходил к изображаемым типам, даже в отрицательных персонажах пытаясь разглядеть человеческое, пытаясь осознать и уяснить причины их упорства. Он не навидел старую деревню, в своем

ослеплении не хотевшую взяться за советское строительство, но, ненавидя, он умел ее понимать и жалеть. Жалея страдающих от своего невежества людей, он в то же время видел, что в той грандиозной борьбе, которая идет сейчас, нельзя обойтись без суровых мер, без жертв. Это свое отношение он прекрасно выразил в формуле:

„Не жалеть, нельзя и жалеть нельзя“, —

которой заканчивается одно из лучших неверовских произведений — повесть *„Андрон непутевый“*.

Неверов был не только бытописателем жизни революционной деревни; он был и мыслителем—философом. Он стремился к осознанию новой, справедливой, прекрасной и красивой жизни, полной правды, радости, солнца, любви, музыки,—к тому коммунистическому „раю будущего“, у приоткрытых ворот входа в который мы стоим. Об этом он настойчиво говорил художественными образами своих последних произведений.

Как художник слова, Неверов является очень крупной величиной, одним из продолжателей великих мастеров нашего прошлого — Лермонтова, Тургенева, Чехова, в то же время всегда оставаясь самим собой, заставляя других учиться у себя, так что в настоящее время мы можем говорить уже о неверовской школе в нашей литературе.

Лучшие вещи Неверова, в которых особо ярко выявился его сильный, оригинальный, сочный художественный талант, навсегда, без сомнения, останутся в русской литературе прекрасными памятниками рабоче-крестьянского творчества первых лет Великой Революции.

II

История жизни и деятельности Неверова
Жизненный и писательский путь Неверова. может быть поделена на три части.

Первый период — его детство и юность — период подготовительный, в некоторых отношениях, может быть, самый важный. Талантливый ребенок, мальчик и юноша, он жадными глазами бессознательно всматривался в окружающий его мир. Жизнь с ее трудом, с ее несложными, — в несложных условиях деревенского хозяйства и быта, — горестями и радостями; люди, животные, природа; живой, образный, яркий крестьянский язык; мироощущение людей, с детства знающих, что значит зарабатывать хлеб своими руками, — все это давало будущему писателю тот колоссальный заряд, который, помимо его воли, откладывался у него в мозгу, чтобы потом, разрядившись, перейти на страницы его книг. Все это „бытие“, окружавшее Неверова в годы детства и юности, бытие, в которое он сам входил, как неразрывная его составная часть, определило его психику и оригинальные особенности его таланта впоследствии, когда он стал писателем.

Второй период — годы его учительства и дореволюционного писательства. Этот период — тоже подготовительный. Но подготовка шла уже несколько иными, более сознательными путями. Неверов много читает, занимается самообразованием. Он уже сознательно наблюдает жизнь деревни и пытается активно на нее воздействовать, поскольку это было возможно при тогдашних условиях, в скромной роли сельского учителя и начинающего писателя. В этот период он вырабатывает свою писательскую технику.

Третий и последний период — революционный. Это период короткого расцвета таланта Неверова, столь безвременно и неожиданно угасшего. Этот период, по существу, весь объединен непрерывным процессом революционной эволюции Неверова, его приходом на службу к пролетариату, объединен рядом больших замыслов. Но, по условиям жизни Неверова, этот период, в свою очередь, должен быть разделен на две части: на годы, проведенные Неверовым в провинции, в Самаре, и на время, — слишком короткое, всего полтора года, — прожитое Неверовым в Москве. Хотя в Москву он приехал уже вполне сложившимся писателем, но, строго говоря, только эти последние полтора года и были временем подлинного расцвета деятельности Неверова, когда он работал с какой-то почти невероятной интенсивностью, когда талант его как-то сразу полно и радостно раскрылся, когда он встретил поддержку и признание...

1. Детство и юность Неверова.

Родился ¹ Александр Сергеевич в селе Новикове, Ясашино-Помряскинской волости, Ставропольского (ныне Мелекесского) уезда, Самарской губернии, в семье крестьянина. Отец Неверова — Сергей Иванович Скобелев, бывший унтер-офицер, „для своего времени“ человек „довольно грамотный, развитой“, по паспорту числился „мещанином города Симбирска“, „но сидел на земле, занимался крестьянством. Мать — настоящая неграмотная крестьянка“ ².

Вернувшись с военной службы, отец Неверова недолго прожил в деревне: продал дом и отправился сначала искать

¹ 20 декабря 1886 года ст. стиля, что равняется 1-му января 1887 г. нового стиля. (Надо иметь в виду, что в XIX столетии старый стиль отставал от нового не на 13 дней, как теперь, а лишь на 12).

² Слова самого А. С-ча из его автобиографии. Цитирую по рукописи. Впервые напечатана (не совсем исправно) в № 2—3 „Крестьянского Журнала“ за 1924 г. Затем, также с рядом искажающих смысл ошибок, но в двух редакциях, напечатана в сборнике „А. С. Неверов“, изд. „Земля и Фабрика“, М.-Л. 1924. Точный полный текст дан в „Собрании сочинений“ А. С. Неверова под моей редакцией, т. I, изд. „Земля и Фабрика“, М.-Л., 1926 г. К сожалению, второй вариант автобиографии ред. коллегия этого издательства исключила, и, кроме того, мои корректурные поправки не всегда принимались во внимание. Поэтому приводимые здесь цитаты из автобиографии я вновь сверил с подлинной рукописью, позволяя себе лишь исправлять явные опiski и ошибки в пунктуации и орфографии, изредка попадающиеся в рукописи (ремингтонограмме) Неверова.

счастья в Сибирь, а потом устроился на службу (должности швейцара, городского и т. п.) в Самаре. Неверов с отцом видался редко и жил в семье деда по матери, крестьянина Н. Елисеева.

„Родился я,—вспоминает Неверов,—провел детство и юность до шестнадцати лет исключительно в доме деда, который, не имея своих сыновей, считал меня чем-то вроде приемыша. По окончании военной службы отец отошел от деда¹, но я не пошел вслед за отцом и остался с дедом, так как он имел в то время бакалейную лавочку, и мне у него жилось недурно—совсем не так, как моему старшему брату и сестре. Кстати сказать, отец любил выпить, часто скандалил под пьяную руку, и я в дом к нему ходил только вроде гостя на одну ночку“.

После смерти матери,—вспоминает далее Неверов,—

„когда мне было лет двенадцать“..., „я с отцом почти порвал всякую связь, да и никакой связи, собственно, и не было между нами, хотя по-своему (я) любил его, но всегда стеснялся и большую привязанность чувствовал к деду“.

Первые годы жизни будущего писателя прошли так, как проходят они в деревне у всякого мальчика из крестьянской семьи среднего достатка в средней полосе России. Талантливость ребенка сказалась очень рано, но едва ли кто ее замечал и придавал ей особое значение. Сказалась она, между прочим, в том, что он очень рано для деревенского мальчика и почти самоучкой научился читать.

„Грамоте я научился очень рано,—пишет Неверов,—лет шести, от старшего брата, который тогда ходил к дьячку. Способности к учению у меня оказались хорошие², и я чуть ли не обогнал брата чтением. А когда меня, видимо по моей просьбе, повели к тому же дьячку, имени которого сейчас не помню, я сказал там ему какую-то дерзость, вел себя непринужденно, за что был тут же посажен в темную комнату, напугался школы и еще не заглядывал туда больше году“.

Так неприветливо встретила „культура“ потянувшегося к ней малыша.

Через некоторое время Неверова вновь отдают в школу, и он принимается всерьез „за науку“, быстро оставляя позади своих товарищей.

¹ Отец Неверова, как говорят в деревне, „вошел в зятя“ в дом своего тестя.

² „Способности имел замечательные), но лень к наукам еще замечательнее“—писал А. С-вич в автобиографическом письме к писателю И. Е. Лаврентьеву. Все письма Неверова цитируются мною по подлинным рукописям. В скобках—часть слова, отсутствующая в подлиннике. Об И. Лаврентьеве см. ниже, стр. 51.

„Как сейчас помню, — вспоминает Неверов, — низкое темное здание, длинные парты, грязный потолок и перегородка в церковную сторожку. Я сижу учеником на одной из парт и очень бойко отвечаю по закону божью попу Петрову, которого звали „курносый“. Грамоту, письмо и арифметику преподавал нам страховой агент, и он же псаломщик, Д. А. Ивановский, человек, пораженный алкоголем, но очень добрый и простой. Он вечно лежал за перегородкой, у сторожа, а я, как наиболее способный ученик, ходил с линейкой между парт, и за него, по его просьбе, показывал младшему отделению буквы. Память у меня была замечательная, и я с одного раза запоминал целый рассказ, целое стихотворение...

Три отделения церковной школы я кончил лучшим учеником и решил сделаться крестьянином, пахарем, ибо к тому времени бакалейные дела у деда пошли на убыль, и он стал заниматься посевами“.

Конечно, сельская школа, да еще „церковно-приходская“, с ее убогой программой, ставящей задачей не столько сообщить полезные знания, сколько выработать из крестьянских детей послушных рабов, одурманив их сетью религиозно-патриотических бредней, мало что дала Неверову. Больше дала сама жизнь, к которой чутко приглядывался и прислушивался талантливый мальчик.

„Рано, чуть ли (не) лет пяти-шести, — пишет Неверов, — я уже начал чувствовать ¹ и через чувство воспринимать мир, меня окружающий. Помню, как во сне, стоит передо мной большая просторная горница в дедушкином доме. Дед был добрый гостеприимный крестьянин, вышедший из крепостного ярма, имел в селе небольшую бакалейную торговлю, и просторная горница в его доме всегда была полна народом: заходили нищие, странники, монахи с „Афонской горы“, продавали кипарисовые крестики, раздавали чудесные камешки, чудесную воду из „реки Иордана“, чудесные стружки от „гроба господнего“. И никто, вероятно, не видел в этом столько чудесного, как я. Мои чувства тогда расцветали странным цветком красоты, страха, радости и величайшей грусти перед тем, что входило в меня помимо сознания. После монахов заходили мужики — родственники деда, старушка Назарьевна, бакалейная торговка, пили водку, пели грустные мужицкие песни, и это угарное, иногда недельное, пьянство опять-таки входило в меня своеобразной красотой, дававшей обильную пищу моему чувству, полетам моей больной фантазии, развитой не по годам и не в меру...

¹ Разрядка здесь и дальше в подлиннике.

Будучи лет десяти, я не один раз ездил с дедом в Тетюши, Казанской губернии, переплывали Волгу на пароме, целыми днями ехали лесом, полем, и ощущения мои становились богаче, и работа мысли сложнее. Лежа в передке телеги, я смотрел на далекое небо, на плывущие по небу тучки и мучительно думал о том, зачем и откуда пришло все это, и куда уйдет дед, дедова лошадь с телегой, куда уйду я сам, куда уйдут травы, деревья, деревушки, мужики и бабы. Если встречалась какая-нибудь птица, сидящая на полевой меже, для меня интересным было в ней не то, что она думает, а что и как она чувствует. Чувствует ли, что я гляжу на нее, и не грустно ли ей сидеть на меже? Особенно тягостное впечатление производили на меня полевые часовенки на раздорожьях. Едешь-едешь, бывало, и вдруг наткнешься на такую сиротинку под черным повихнувшимся карнизом, с криво посаженным крестом, с черной безликой иконкой, полинявшей от дождя и ветров. Кто, когда ее поставил? Кто и когда останавливался около нее, о чем просил бога, и помог ли он ему?..“

Кроме этих впечатлений от деревенского быта, от поволжской природы, от рассказов деда о былом; кроме этих мучительных попыток осмыслить жизнь, в которых уже чувствуется будущий художник, нельзя не отметить того положительного влияния, которое оказало на Неверова участие в процессе крестьянского труда.

В деревне дети вообще рано становятся „большими“. Семилетнего малюга обычно уже используют как „рабочую силу“ в поле и дома, а мальчик 11—12 лет—совсем настоящий работник. Это имеет, при всей тяжести часто неподсильного труда¹, и свои положительные стороны. Ребенок начинает серьезно смотреть на жизнь, чувствует себя взрослым, трезво, как взрослый, судит о людях, о хозяйстве, становясь его активным участником, чувствует себя „настоящим мужиком“. Так чувствовал себя и Неверов, чуть ли не с 10-ти лет.

Любопытно, что крестьянский труд не казался ему особенно тяжелым и даже увлекал его. Он знал радость труда, ощущал его поэзию.

„Крестьянская работа в поле казалась мне самой лучшей на свете, — рассказывает Неверов, — и я также быстро научился пахать сохой, жать серпом, плести лапти. Помню: плетение лаптей доставляло мне неизъяснимое удовольствие. Я воображал себя каким-то старичком, и оторвать меня от этой работы стоило

¹ Ср.: А. Демидов, „Жизнь Ивана“.

большого труда. Но продолжалось это увлечение недолго: как только постиг я лапотное искусство, тут же охладел к нему. Это моя характерная черта: потом я и к крестьянству охладел. А были годы, когда я, десяти-двенадцатилетний мальчишка, воображая себя мужиком, крестьянином, имел свой кисет с табаком, на все вещи смотрел мужицкими глазами, подсаживался к мужикам, говорил о мужиком. Почистить, бывало, двор зимой, убрать скотину, выйти ночью к лошадям, съездить на гумно за соломой и потом позавтракать, посидеть за блюдом жирных дымящихся щей,—было для меня что-то особенное, чего я и сам не мог понять“.

Кроме этой „поэзии“, не мало видел Неверов в детстве вокруг себя и плохого, знал и о тяжелых условиях крестьянской жизни и о социальном гнете. Дед и бабушка нередко рассказывали ему —

„о том, как они жили у барина в крепостное время, как барин менял мужиков на собак (отец деда, между прочим, был вывезен из Симбирской губернии, как проигранный Лазареву барину другим барином), как бил барский староста дедушку, когда он был еще мальчишкой, и как старостиха била бабушку за то, что плохо караулила барских гусят... Все это до крайности обостряло мои чувства“,—замечает А. С-вич.

Но не одни только рассказы деда говорили Неверову о социальных противоречиях и барском гнете. Многое он мог и сам лично наблюдать.

„Вблизи Новиковки,—рассказывает его близкий друг с юных лет тов. Яровой¹,—ярким пятном возвышалась усадьба помещицы Конуриной. Барынька вела разгульную жизнь. Окруженная мужчинами, скакала на лошади верхом, с хохотом появлялась на улице Новиковки и пугала ребятишек длинным хлыстом. По вечерам, до глубокой полночи, а иногда и до утра, в доме гремела музыка. Там справлялись балы, попойки.

Чуткий Саша Скобелев, слушая музыку, наблюдая разгул,—чувствовал в барской жизни сплошную музыку. Потом, сравнивая ее с жизнью мужиков и баб, познавал, что на земле род человеческий разделен на две неравноправных категории — бедных и богатых...“².

¹ „П. Яровой“ — псевдоним Федота Емельяновича Комарова. Его воспоминания о Неверове в отрывках были напечатаны в „Красном журнале для всех“, 1924, № 2, и в полном виде в сборн. „Неверову“ — „Алый венок“, М. 1924.

² „Красный журнал для всех“, 1924, № 2. Ср. ниже о рассказе Неверова „Музыка“.

Говоря о детских годах Неверова, нельзя не упомянуть еще о его матери, Матрене Николаевне Скобелевой. Простая неграмотная крестьянка, она много дала ему своею женской материнской ласковостью. Смерть ее была большим горем для мальчика. Трогательные воспоминания сохранил тот же П. Яровой о том, как Неверов, уже юноша, читал им, товарищам, свои стихи „На могиле матери“.

„Молодой поэт становился совсем не гордым, озорным, каким был до того момента, на лицо легла печаль, а мы, неизнеженные мальчишки, готовы были реветь... Перед нами рисовалась печальная картина. Светлое небо, холмик с крестом и мальчик, склонившийся над могилой. Мальчик жалуется матери, что он сирота и не знает, что делать...“

Образ матери глубоко запечатлелся у Неверова на всю жизнь. Не случайно он так часто рисовал в своих произведениях трогательную фигуру крестьянки-матери, так хорошо умел передать ее ласку и ее горе¹, с таким сочувствием относясь к тяжелой женской доле.

Вскоре после смерти матери, Неверову пришлось расстаться с деревней, хотя и не надолго.

„Лет с пятнадцати, — пишет он, — началось во мне какое-то брожение. Вдруг ни с того ни с сего совершенно пропала охота к крестьянству и захотелось сделаться „половым“ (официантом). Видел я и раньше этих людей, когда ездил с дедом в Симбирск за товаром, и они производили на меня неотразимое впечатление: черные пиджаки, белые салфетки под мышкой, артистическое лавирование с подносами между столиков, звон посуды, дымящиеся чайники — все это волновало меня несказанно, и думал я, что лучше этой жизни ничего не может быть.“

В год смерти моей матери попал я в Самару к отцу, прошел мимо чайной, и сердце мое затосковало смертельно, но, вместо чайной, жена городского, Анна Андреевна Бурмистрова, отвела меня в губернскую типографию и там определила маль-

¹ Особенно силен рассказ „В коридоре под лампочкой“, напечатанный в уфимской газете „Народ“ в 1918 г. К сожалению, ред. коллегия изд-ва „Земля и Фабрика“ исключила этот рассказ из II т. редактируемого мною собр. соч. Неверова на том основании, что рассказ... „очень сильно написан и оставляет тяжелое впечатление“.

чиком¹. Типографские машины, шум ремней, запах красок, огромные листы бумаги, выбрасываемой машинными „грабелями“, моментально убили во мне любовь к чайной, и я подумал с трепетом душевным:

— Вот она настоящая жизнь.

Дали мне бостонку, заставили печатать штемпеля на конвертах для волостных правлений. Показывать и разъяснять долго не пришлось. Выучился я моментально подкладывать конверты, ибо полюбил этот „фокус“, и через два-три дня изготовлял по несколько сот экземпляров. Я даже огорчился, когда кончались рабочие часы и нужно было уходить из типографии.

Так произошло „пролетарское крещение“ будущего пролетарского писателя. Выросши в деревенском быту, он ребенком попадает и в обстановку труда рабочего, что не могло не расширить его кругозора. Однако, выветрить навыки той среды, в которой он родился, оказалось не так-то легко. Увлечение быстро прошло, и „сына полей“ вновь потянуло к родным полям. —

„А потом опять перелом, — читаем мы дальше в его автобиографии. — Не помню точно теперь, но, кажется, через неделю, не больше, надоела мне вся типография, и моя бостонка, и мое занятие, ибо я достиг своего, а дальше меня не пускали в ход, нового ничего не показывали, и я больше не являлся на работу, вернулся в деревню к деду и решил отдать себя крестьянству“.

Дед, повидимому, отнесся не особенно благодушно к неожиданному появлению беглеца, но делать было нечего — место было потеряно. Пришлось оставить парня в деревне, тем более, что, как рабочая сила, он мог оказать немалую помощь в хозяйстве.

Поэзия деревенского быта опять захватила Неверова, а так как он становился старше, то начинает уже замечать такие стороны жизни, мимо которых проходил раньше без внимания:

„Осенние деревенские ночи, осенние праздники, свадьбы, вечерки, девичьи посиделки, песни под гармонь — вся эта музыка коснулась как-то по-особенному моей души, — вспоминает А. С-вич, — и я ушел в эту жизнь, в эту поэзию целиком“.

¹ Впрочем, определили Неверова „в мальчики“, повидимому, не столько по его желанию, сколько потому, что „бакалейные дела у деда пошли на убыль“ и в семье был вовсе не желателен „лишний рот“.

Но долго успокоиться на этой „музыке“ Неверов никак не мог. Скрытые психические силы требовали выхода; сам себя не понимая, Неверов рвался куда-то, не мог усидеть на месте. Вкусив от прелестей некрестьянской жизни, он не мог уже удовлетвориться деревенским бытом.

„Я не знал самого себя,—говорит он.—Какая-то сила опять оторвала меня от деревни и совершенно неожиданно увела в село Старую-Майну, за восемнадцать верст, и поставила за прилавок в галантерейную лавку купца Никифорова“.

Наступает новое увлечение, столь характерное для пылкой натуры подростка:

„В лавке я чувствовал себя, как рыба в воде: пуговицы, ленточки, тесемочки, гребешки, булавки, иголки, запах скипидара, камфары, мыла, масла, красок, подметание полов, беганье с чайником, разговоры с покупателями — вот где была музыка. А в дому купца по ночам, после торговли, была другая музыка: моя новиковская дерюга и спанье на полу в кухне, тишина и заброшенность, строгий хозяйский окрик. Я чувствовал какую-то несправедливость. Эта несправедливость скоро вылилась в страшную скуку, и в базарный день, бросив в кухне хозяйской свою дерюжку, бежал я снова к деду...“

Лето Неверов прожил в деревне, а к осени опять поступил на службу—в посад Мелекесс, где пришлось встать —

„за прилавок уже мануфактурного магазина купца Березина, или, вернее, не за прилавок, а около дверей. Опять увлекла меня новая жизнь: очень нравилось мне мерить материю, развешивать платки, полushалки, разговаривать с покупателями...“

Но скоро надоела и эта служба, и, пробыв у Березина около года, Неверов опять „сбежал“; только теперь уже не к деду, а в село Озёрки, чтобы поступить в школу продолжать свое образование ¹.

¹ В упоминавшемся уже письме к И. Е. Лаврентьеву Неверов об этом периоде своей жизни рассказывает так: „После прих(одской) шк(олы) почувствовал сильное влечение к крестьянству. Через 3 года надоело. Захотелось удариться в торговлю. Служил [два года] (зачеркнуто. Н. Ф.) под мальчишкой в галантерейном магазине с. Старой-Майны, Ставр. у. в 18 верстах от родины, и год в мануфактурном магаз(ине) посада Мелекесса.. (Из мануфактурного) (магазина) сбежал на 16-м году во второ(кл(ассную) школу Озерскую, Ставр. у.“

Прежде чем перейти к рассказу об учении Неверова в Озёрках, надо сказать о его первых попытках творчества.

„Еще лет двенадцати или несколько раньше поразил я самого себя стихотворством,—рассказывает он¹.—Случился этот „грех“ со мной странно, непонятно, совершенно помимо моей воли. Был у нас в селе портной Тюкан. Зимой по вечерам мы, ребяташки, собирались у него на картежную игру и резались в три листика. Я, по обыкновению, всегда проигрывал. А у деда в доме очутилась в это же время лубочная картинка: разоренные домишки, пропившиеся мужики и здоровый краснощекий целовальник. Объяснение к картинке было написано стихами. Мне почему-то вдруг запала в голову мысль написать вот такие же стихи и про Тюкана, который разоряет нас, ребяташек. Это, кажется, не вышло, а вышло совершенно другое: я, что называется, „продернул“ всю нашу улицу—Рязань, и вот уцелевшие в памяти строчки из первого моего „поэтического“ произведения:

Антон беднота,
Митрий бормота —
Квартал прочь.
Кума Степанида,
Тюкан коровья гнида —
Квартал прочь. И т. д.

Прочел я все это ребятам, мужикам, бабам, вызвал смех, одобрение, и первая „слава“, первое сознание, что я умею „складывать“, сделали свое дело. Совершенно не имея никакого понятия о правилах стихосложения, я упорно складывал строчки, подбирая рифму, и вся прелесть стихотворного искусства заключалась для меня в том, что каждая строчка в конце „слово в слово приходится“.

Эти первые опыты, сохранившиеся лишь в памяти автора и его немногих товарищей, которым удалось выбиться потом на культурную дорогу, любопытны тем, что в них, помимо воли и сознания Неверова, уже намечились две существенные линии его позднейшего творчества. Первая—это умение наблюдать быт и изобразить его сатирически с оттенком легкого юмора. И вторая—лирическая струя, вызванная детским горем, думами о жизни и картинами природы,—в этих лирических тонах были написаны стихи вроде тех, о которых вспоминает т. Яровой („На могиле матери“).

Та среда, в которой жил Неверов, не могла вывести его на правильный путь, если бы не счастливая встреча с несколь-

¹ В письме к И. Е. Лаврентьеву: „С 13 лет начал писать стихи“.

кими более культурными людьми, особенно с мелекесским поэтом-самоучкой Денисовым¹. Он, по словам тов. Ярового, сыграл решающую роль в выборе Неверовым жизненного пути², оказал ему должную поддержку и дал ряд ценных советов. С благодарностью вспоминает о нем, равно как и о некоторых других лицах, и сам А. С-вич:

„...очутившись в Мелекесе, я услышал однажды за хозяйским столом насмешливые разговоры о том, что на Большой улице у них живет сочинитель, а из Петербурга ему за это присылают деньги, и он, будто бы, получил целых сто рублей. Живя в Мелекесе, я тоже писал стихи в уголку за печкой и читал их кухарке Аксинье. Она была в восторге от моих стихов, часто плакала от „умиления“, но я никогда не думал о том, что стихами можно заработать сто рублей. Сердце мое взволновалось. Я разыскал сочинителя (поэт-самоучка, крестьянин Денисов из села Кондаковки), раскрыл перед ним тоскующую непонятую душу, показал свои опыты и, к огорчению своему, получил ответ:

— Надо учиться, знать размер, ударения.

Достал я, помню, синтаксис Киричничкова и с головой ушел в учобу, чтобы осилить „знаки препинания“. Конечно, измучился, обалдел, ничего не понимая. Решил учиться всерьез. Но как? Где? У кого? Набрался смелости и пошел к священнику Высокову, рассказал: так и так, мол, поэт-сочинитель, хочу учиться,—помогите. Помочь он не помог, но и смеяться не стал“.

Он направил Неверова к одному старичку-живописцу, фамилию, имя и отчество которого А. С-вич забыл;—

„...тот заинтересовался, пригласил к себе на квартиру, ободрил, успокоил, решил устроить меня в Вольскую учительскую семинарию, но,—продолжает Неверов,—в виду того, что я (был) совершенно не подготовлен ко вступному экзамену, посоветовал поступить прежде в Озёрскую второклассную школу, где экзамены попроще, дал на дорогу рубль денег, и я покинул магазин купца Березина. Отслужил молебен за пятачок, покрестился на соборную колокольню и, с сумочкой за плечами, с желанием учиться, пошел пешком из Мелекеса за сорок верст в село Озёрки на экзамен...

Поступил, стал учиться стипендиатом. Это было в 1903 г.“

¹ Денисов, Спиридон Васильевич, поэт-крестьянин. Им была выпущена книжка стихов: „Стихотворения“, СПб., 1886 г.

² Впрочем, приводимые ниже слова самого Неверова как бы не вполне подтверждают правильность этого утверждения т. Ярового.

Озёрская, так называемая „второклассная“, школа с трехгодовичным курсом давала весьма элементарную подготовку, но кончившие ее получали право быть учителем „школы грамоты“ и могли держать экзамен на звание „начального учителя“.

Учителя, ученье и вообще школа не оказали, повидимому, особо заметного влияния на Неверова; по крайней мере, он ничего не говорит об этом в своей автобиографии ¹.] Преподавание, разумеется, велось в духе внедрения начал „православия, самодержавия и народности“, так как педагоги, выполнявшие волю начальства и господствующего класса, из учеников прежде всего „хотели сделать послушных рабов синода и царя“, как формулирует задачи школы т. Яровой, учившийся вместе с Неверовым.

Но, как это и часто бывает, школьные годы, не давая прямо ничего положительного, во многом способствовали развитию Неверова. Товарищеская среда, разговоры, совместное чтение, наблюдения над жизнью деревни, особенно в связи с событиями тех лет, — Неверов учился с 1903 по 1906 г.г.: стало быть, пережил на школьной скамье и японскую войну и революцию 1905 г. и первую Думу, — все это необычайно расширило его кругозор; из робкого полуграмотного мальчика он превратился за эти три года в юношу, хотя и не вполне политически сознательного, но уже стремящегося к общественной деятельности; из начинающего, не имеющего понятия о размерах и ударах стихоплета — в писателя, произведения которого признаются достойными печати. Прогресс, конечно, колоссальный.

У нас мало сведений о школьных годах Неверова и о его первых писательских шагах. Кое-что лишь припомнил товарищ Неверова по школе П. Яровой.

„Не забыть светлого августовского утра, — рассказывает он. — Передо мной шестнадцатилетний подросток. Среднего роста, большая голова, белое лицо, пепельные волосы ершиком, глаза голубые — то грустные, то загораются смехом. Мой товарищ по школе говорит:

— Александр Скобелев... сочиняет стихи. На этом мы сразу сошлись, а укрепило дружбу овражное чтение стихов“.

Из села ребята уходили в поле, ложились в овраге на душистую траву и поверяли друг другу свои поэтические грезы. Тут

¹ В письме к И. Е. Лаврентьеву: „Учился хорошо, стипендиатом. Кончил плохо“.

читал Неверов и свои стихи „На могиле матери“, слушая которые, товарищи готовы были плакать.

О школьном учении П. Яровой вспоминает в таких словах:

„Учил (Неверов) в школе и то, что было нужно для себя, и то, что нужно было для заведующего школой, священника Сунгурова, чтобы тот не лишил его содержания“.

В семье П. Ярового А. С-вич встретил большое, чисто родственное, участие и поддержку.

„Наша первая студия была на полотах в избе моего отца,— рассказывает П. Яровой.— Изба, аршин сорок в квадрате, где жила семья в двенадцать человек, гостеприимно встретила Сашу и других товарищей. Отец любил нас как-то особенно, по-мужичьи, но с присущей ему искренностью и добротой... Мать любила Сашу, как сына, старалась всякий раз накормить досыта, так как знала, что у него не бывает денег, некому его обмыть и обшить.“

Мой „кабинет“ на полотах наполнялся товарищами. На потолке пестрели столбцы стихов. Саша вынимал из кармана новые стихи и читал их громко, чтобы слышали внизу... ¹.

Содержание их было разное, но все они, начиная от смешных, кончая печальными, говорили о бедноте, о мужике, о переживаниях крестьянских детей. Не раз писал эпиграммы. Одну такую написал на попа Сунгурова, где чаще всего упоминалось „червивое мясо“. Речь шла о том, как заведующий школой кормил стипендиатов...“ ².

Начало одной из этих эпиграмм сохранилось в памяти П. Ярового:

„Поп Сунгуров, консерватор,
Трехкопеечный оратор,
Вздумал слово нам сказать...“

Но талантливые мальчики занимались не только стихами. Они много читали, вели литературные споры.

„Особенно памятен один из споров,—вспоминает П. Яровой,— по вопросу:

— Кто из двух типов тургеневского романа „Новь“ положительный — Нежданов или Соломин?

¹ „Красн. журн. для всех“, 1924, № 2, стр. 126.

² Сборник „Неверову“, М. 1924, стр. 15.

Вопрос разрешался несколько дней. Этот спор знаменателен тем, — замечает П. Яровой, — что пробудил интерес к политическим вопросам. Нужно было к типам романа подходить с общественно-политическим аршином, и было решено, что у обоих героев романа неверны революционные подходы к массам крестьян“ ...

„Важно заметить, — пишет далее П. Яровой, — что в это время на юношу Сашу сильно влиял мой отец. Он раскрывал перед ним прошлое своей мужицкой кабальной жизни, рисовал типы помещиков, мужиков, их взаимоотношения. А сам отец знал не мало. Начиная от дворового мальчишки, прошол через все мытарства дворового и кончал свою жизнь батраком. Он часто говорил нам:

— Правды, ребята, нет. Может, есть такая страна, где эта правда находится...“ ¹.

Подошел 1905 г., разворачивались события, отразившиеся и на далекой провинции.

„В пятом году, — читаем у П. Ярового, — когда Россия вспыхнула от первой революционной искры, ученики не выдержали, устроили забастовку. Они снеслись по этому поводу с женской второклассной школой г. Ставрополя, выбили окна и разошлись по домам. В числе застрельщиков был... и Саша. Он под руководством А. И. Свицерского ² составил петицию, где требовалось улучшение содержания стипендиатов, расширение программы предметов школы и методов преподавания...“ ³.

Ребята стали думать и об общественной деятельности, о работе среди крестьянства, о борьбе с народной темнотой, бесправием, пьянством:

„На полатах студии стало тесно, — пишет П. Яровой, — она расширилась. Она превращается потом в „Общество трезвых взглядов“ (которое имело целую программу общественной работы среди крестьян. Н. Ф.). Помню только три пункта:

1. Борьба с пьянством.
2. Равноправие женщин.
3. Свобода костюма.

Цель этого общества — пересоздать жизнь пропагандой программы, о том писать в стихах и рассказах. С этой целью был задуман рукописный журнал. Назывался он „Лапотник“ ⁴.

¹ Сборник „Неверову“, стр. 16.

² Свицерский, Алексей Иванович, учитель, Озёрской школы, придерживавшийся оппозиционных взглядов.

³ Сборник „Неверову“, стр. 17 — 18.

⁴ „Красный журнал для всех“. 1924, № 2, стр. 126.

Целями этого общества, в программе которого на первом месте стояла борьба с пьянством, объясняется и то, что первый появившийся в печати рассказ Неверова — „Горе залили“¹ был написан на „алкогольную“ тему и был помещен в „трезвенном“ петербургском журнальчике „Вестник Трезвости“.

Рассказ написан, хотя и несколько наивно, но довольно гладко и живо, обличая большую работу, проделанную начинающим писателем за три года его пребывания в Озёрской школе.

Успех чрезвычайно окрылил не верившего в свои силы Неверова, который и псевдоним себе выбрал соответственный своему робкому характеру.

„Будучи учеником третьего отделения, — вспоминает он, — напечатал первый рассказ в петербургском журнале „Вестник Трезвости“, получил десять рублей гонорару. Радость нельзя было измерить ни ковшом, ни ведром, ни лопатой. Совсем очумел, что называется“².

Вслед за первым рассказом последовало еще несколько, принятых тем же „Вестником Трезвости“, но все же на настоящий писательский путь Неверов встал не сразу.

Озёрская школа, которую А. С-вич окончил в 1906 г., давала, как сказано, свидетельство на учителя „школы грамоты“. Школы эти, с программами церковно-приходских, открывались в деревнях, и учащие в них получали жалованья 10 р. в месяц. Но так как учащихся, по словам П. А. Неверовой, было больше, чем школ, то даже в „школу грамоты“ не всем удавалось поступить; не удалось поступить и А. С-чу, и он уехал искать счастья в Самару, где, среди городской жизни, чуть было не свихнулся. Вот как он сам рассказывает об этом:

„По окончании школы поехал в Самару искать должность писца. День торговал газетами, три дня таскал мусор на постройке, устроил стихотворение в самарской газете³ — ударился

¹ См. т. I собрания сочинений Неверова под моей редакцией, изд. „Земля и Фабрика“, стр. 41—50

² Этой первой удаче предшествовало несколько неудачных попыток проникнуть в печать. „В школе продолжал писать стихи, но безуспешно, — сообщает А. С-вич И. Е. Лаврентьеву. — Пробовал посылать в журналы, но отовсюду получал: „к сожалению, поместить не можем“. Тем ценнее было первое „признание“.

³ К сожалению, найти это стихотворение в комплектах самарских газет, имеющихся в библиотеке имени В. И. Ленина (быв. Румянцовского Музея), мне не удалось.

в Оренбург, где в то время кондуктором на железной дороге служил мой старший брат. Однажды читаю в оренбургской газете: „Нужно лицо, умеющее писать стихи на злобу дня. Адрес: Гранд-Отель, спросить мадам такую-то“. Работы постоянной не было, и я подумал: „Могу ли я писать стихи на злобу дня?“ И тут же сказал самому себе: — „Могу“. Пошел. Оказалось, что попал я к содержательнице кафе-шантана. Получил темы, „лозунги“. Как сейчас помню предложенную мне заключительную строку, которой должен заканчиваться куплет:

„Он подрастет, он подрастет“.

Это об одном молодом человеке, которого осматривал доктор, как венерически больного. И еще что-то было заказано о старичке и т. д. Я посмотрел на это, как на хлеб, который мне нужен, взял заказы, просидел целую ночь, отнес — не приняли. Опять просидел целую ночь — опять не приняли. Носом у меня тронулась кровь от переутомления, но я опять работал. Приняли, заплатили мне пять рублей золотом, хвалили мои таланты, звали с собой в путешествие, просили захаживать к их девочкам, чтобы знакомиться с бытом, и говорили, что у меня „громадный талант кафешантанного поэта“. (Это буквально). Я, конечно, деревенский паренек, совершенно не понимал, куда я попал, ибо кафе-шантан мне казался большим театром, меня обожгли похвалой, и похвалил не кто-нибудь, а солидная дама, „барыня“, и я чуть не поскользнулся на этом пути...

Но, к счастью, все-таки не поскользнулся, удержался и нашол силы выбраться. Помогла ему любовь к одной культурной и самоотверженной девушке. Об этом примечательном эпизоде его жизни известно лишь то, что счёл возможным рассказать сам А. С-вич; да еще несколько сведений сообщил П. Яровой.

„...Письмо от „Нютки Лёгиновой“¹, моей первой любви, сразу меня отрезвило, — пишет Неверов. — Она (в то время гимназистка, революционерка, лет 17) писала мне из Самары, что

¹ „В наш кружок, — рассказывает П. Яровой, — вступило несколько ставропольских второклашек, а среди них большую роль сыграла в жизни юноши Саши пятнадцатилетняя Аня Лёгинова. Он ей отдал первый гонорар, полученный в размере десяти рублей за рассказ „Горе залили“. Он любил ее серьезно, по-юношески. Лёгинова была девушкой серьезной. Полуцыганка, с большим уклоном к тенденции новой женщины, она натолкнула Александра Сергеевича на вопрос о положении женщины в обществе и была первой девушкой, выразившей свой взгляд на борьбу за положение женщины в государстве“. (Сборн. „Неверову“, стр. 18).

Несмотря на некоторую невразумительность последних слов тов. Ярового, его свидетельство, как близкого друга А. С-ча в те годы, чрезвычайно важно. В разговоре

она вместе с товарищами идет в народ и будет бороться с царским произволом. Такого удара я не мог перенести. Как! Она, революционерка, идет в народ, возможно — погибнет, а я пишу стихи о старичках! Нет, это нехорошо! Я тоже люблю народ, тоже готов служить ему бескорыстно своими „знаниями“, — и вот я снова бегу в деревню и поступаю учителем школы грамоты на десять рублей в месяц в глухую деревушку Письмирь Ставропольского уезда“¹.

2. Годы учительства Неверова.

Сельским учителем Неверов был лет девять, переходя с места на место и испытывая на себе всю тяжесть „бытия“ деревенского педагога. Жалованья в школах грамоты полагалось, как

со мной тов. Яровой также подтверждал исключительное влияние этой девушки на Неверова. „Поэтому у него так и силен мотив женщины, — говорил мне Ф. Е. Яровой: — мать сначала, потом она — они во многом определили его творчество“.

Собрать более подробные сведения об этой девушке, — которой выпала на долю судьба стать светлой музой Неверова и, может быть, спасти его от окончательной гибели в кафешантанном смуте, но жизненный путь которой потом разошелся с путями ее друга, — мне, к сожалению, не удалось. Знавшие Неверова товарищи говорили мне, что она, действительно, потом принимала активное участие в революционном движении, была партийной работницей, но где находится теперь и жива ли, — они не знают. Если моя книга попадет в руки тов. Логиновой, очень прошу ее написать мне и сообщить свои, несомненно ценнейшие, воспоминания об А. С-че, которые пролили бы много света на его творчество.

¹ И. Е. Лаврентьеву А. С-вич писал: „После школы поступать в семинарию не захотелось. Пошел колесить по городам. Осенью нужда вернула обратно. Поступил учит(елем) школы грамоты на 10 р. в месяц“. Таким образом, повидимому, скитания Неверова продолжались всего лишь одно лето 1906 года. Впрочем, тут не все ясно. П. А. Неверова говорит: „Чтобы получить не „школу грамоты“ а церковно-приходскую (здесь учителя получали 20 рублей), нужно было выдержать экзамен за 5 классов гимназии, и вот А. С-вич решился сдать экзамен в г. Ставрополе (на Волге) при городском училище. Экзамен сдал, но церковно-приходской школы не получил, а назначили его в д. Письмирь в школу грамоты на 10 р. в месяц“. Но из сохранившейся у П. А. Неверовой копии свидетельства А. С-ча видно, что экзамен он держал лишь в 1908 году, что и естественно, так как едва ли за одно лето он мог подготовиться. Повидимому, Пелагея Андреевна запомнила, и в Письмирь А. С-вич был назначен до экзамена, а затем, желая выбиться, он сдал экзамен, но сразу перевода на высший оклад не получил: „трубил 4 года“ — пишет он Лаврентьеву.

Текст „свидетельства“ такой:

Копия.

С В И Д Е Т Е Л Ь С Т В О.

Предъявитель сего, сын мещанина, Александр Сегаевич Скобелев, на основании Высочайше утвержденных 22 апреля 1868 г., 13 декабря 1894 г.

уже было сказано, 10 р. в месяц, в церковно-приходских—20 р., в земских—несколько больше,—до 35, и это было пределом мечтаний всякого сельского учителя. Только через 6—7 лет Неверову удалось устроиться в земскую школу в с. Елань, до того же времени он мыкался по деревушкам Ставропольского уезда, меняя Письмирь на Камышовку, Камышовку на Колодную, Колодную на Супонево.

Безысходная бедность, тяжелый труд, деревенская глушь, полное отсутствие связи с культурными центрами, недоброжелательное отношение крестьянства, подозрительность со стороны начальства — „заведующих“, сельских попов, — очень часто приводили к тому, что попавший в глушь даже с самыми благими намерениями сельский учитель не выдерживал и через несколько лет или спивался окончательно, или бросал учительство, если удавалось найти должность более „обеспеченную“, — поступал в урядники, „посвящался“ в дьякона и т. д., поставив крест над „благими намерениями“ и „совестью“.

Неверов выдержал и не погиб, но горькая чаша тяжелой доли сельского учителя была им достаточно хорошо известна, и дала богатый материал для его ранних рассказов, в которых он постоянно обращался к изображению быта сельского педагога.

Спасли Неверова два обстоятельства. Первое—это, конечно, его талант и литературная работа. Большинство учителей гибли, спивались от невозможности и неумения найти себе дело, которое захватило бы, заинтересовало, заполнило свободное от уроков время, особенно праздники и каникулы. У Неверова такое дело было. Работал он, по словам его жены, чрезвычайно интенсивно, и каждая его вещь стоила ему большого труда — он по многу раз переделывал, переписывал свои рассказы, „чуть не по 15 раз“, что в значительной степени за-

и 11 декабря 1895 г. мнений Государственного Совета о специальных испытаниях по Министерству Народного Просвещения, подвергшись полному испытанию в педагогическом совете Ставропольского городского трехклассного училища и выдержав оное удовлетворительно, удостоен звания учителя начальных училищ. В удостоверение чего дано ему это свидетельство за надлежащим подписанием и с приложением казенной печати.

Г. Самара. Июля 17 дня, 1908 года.

Директор народных училищ Самарской губ. (подписал) Лозанов.

И. д. Делопроизводителя (подписал) Л. Бурдонов.

полняло его досуги. Нередко просиживал целые ночи, так что крестьяне удивлялись, чем это таким учитель их занимается ¹.

Кроме того, связь с редакциями, переписка с писателями оказывали ему большую нравственную поддержку. Получаемые книжки журналов давали материал для чтения и ознакомления с текущими событиями ². Читал в это время Неверов вообще довольно много, пополняя свое незначительное образование ³.

Вторым обстоятельством, благотворно отразившимся на судьбе Неверова, была его дружба с учительницей одного из соседних сел—Пелагеей Андреевной Зеленцовой, впоследствии ставшей его женой.

Единственной отрадой для многих учителей была возможность отправиться в праздник к товарищу в соседнее село, иногда верст за 10. Ходил „в гости“ по соседям и А. С-вич;

¹ „Теперь работаю сдержанно, мало. Слежу за собой. Придираюсь к себе хуже записного критика. Некоторые вещи переписываю по 50 раз (буквально). Что напишу сегодня—завтра рву“. (Письмо к И. Е. Лаврентьеву).

² „Выписываю я, — пишет А. С-вич И. Е. Лаврентьеву (то же письмо):— „Ж. д. в.“ (т.-е. „Жизнь для всех“), „Бюллетени литературы и жизни“, „Известия по литературе (и) библиографии“ Вольфа и „На берегах Невы“—журнал ерундовский. С будущего года выпишу больше. Газет не читаю—плохо здесь из-за почты: далеко“.

³ Надо сказать, что путем самообразования А. С-вич достиг довольно больших результатов. Письма его почти вполне грамотны, и слогом он владеет в годы учительства в достаточной мере свободно. Как-то Н. А. Степной говорил, что Неверов особенно „развился“ в последние годы своей жизни в Москве, и, указывая на его критические статьи, сказал, что несколько лет тому назад Неверов не сумел бы так написать. Нет сомнения, что последние годы сильно расширили кругозор Неверова, но уже в 1914 г. он был вполне способен к формулировке довольно сложных отвлеченных мыслей. Вот, например, как он писал И. Е. Лаврентьеву (1914, IV/25), пытаясь определить, полушуга, характер своего адресата по почерку: „По складу своего творчества вы скорее—публицист, чем художник. Художник—человек порывов, увлечений, замыслов, имеющий дело с образами отвлеченными, воплощающий их в видимые, конкретные формы, а у публициста все уравновешено, из-под известного угла; он, так сказать, учитель, немножко пророк, объясняющий добро и зло, и мысль его всегда оперирует над фактами, где он утверждает или отрицает жизнь в ее формах современности“... Единственное, что можно отметить, это разве некоторый провинциализм, выражающийся порою в стремлении щегольнуть некстати иностранным словом. Например, в том же письме А. С-вич говорит: „Письму Вашему был очень рад. Прочитал его трижды: уж очень оно меня поразило своей каллиграфией“... Удивительно, как похожа она на каллиграфию моего товарища-учителя“... По смыслу видно, что речь идет не о том, что адресат Неверова пишет очень „каллиграфично“, а что слово „каллиграфия“ употреблено просто вместо слова „почерк“.

у одной из своих соседок-учительниц он встретился с Пелагеей Андреевной. Познакомились, подружились, и Неверов стал каждый праздник ходить к ней за 12 верст¹. Она была „богаче“ его: получала 20 р. и могла выписывать толстый журнал — „Современный Мир“ или „Русское Богатство“. Вместе читали; Неверов читал ей свои вещи, обсуждали их. На то, чтобы, поженившись, жить вместе, они долго не могли решиться из-за недостатка средств. Но возможность постоянного дружеского общения, конечно, оказывала А. С-чу огромную поддержку.

Только в 1912 г. летом он повенчался в Самаре с Пелагеей Андреевной, но и после того им пришлось сначала жить врозь, каждому в своей школе². Лишь через некоторый промежуток времени им удалось добиться назначения вместе в одну школу (в с. Елань)³, где А. С-вич и прожил до призыва на военную службу по мобилизации в 1915 г.

Жизнь за эти годы, как уже было сказано, нашла отражение в рассказах Неверова, некоторые из которых носят явно автобиографический характер. Особенно интересен рассказ „Без цветов“, напечатанный в 1913 г.⁴ и трогательно посвященный „сыночку Боре“, который, когда писался рассказ, еще не появился на свет, а только ожидался. В этом рассказе Неверов,

¹ О своем знакомстве с А. С-чем П. А. Неверова рассказывает так: „Весной 1909 г. я познакомилась с ним в соседней деревне у учительницы. Он был в шляпе, с длинными курчавыми волосами, в черной паре и красной рубашке с белевскими горошками... Летом я и он были назначены в Самару на педагогические курсы... Конец 1909 и начало 1910 года А. С. был в той же Камышовке... Мы были уже хорошо знакомы, и он с товарищем, тоже учителем, приезжали ко мне, а иногда и приходили за 12 верст по субботам“.

² „В 1912 женился, — пишет А. С-вич Лаврентьеву 25 апр. 1914 г. — Думаю себе: „дай попробую!“ Попробовал. Теперь скоро буду сам четверт. Первым результатом моего любопытства явился молодой человек — Борис Александрович. Вторым результатом ждем девицу“.

³ „Теперь служим с женой в Самарском Земстве, в двухштатной одноклассной школе. Материально все-таки ничего. Оба получаем 70 р., да я иногда прирабатываю, хотя очень мало. В нынешнем году получил только 59 р. за „Последнее средство“ и за „Колькин табель“... (То же письмо).“

⁴ „Жизнь для всех“, 1913, янв., № 1, столб. 42—60. Все ранние рассказы я цитирую в первой редакции, так, как они были напечатаны в те годы. Впоследствии Неверов значительно их исправил, и в таком виде они вошли в посмертные сборники „Серые дни“ и „Пропавшая страна“ и включено много в собрание сочинений Неверова, т.т. I и II.

несомненно, по своим собственным впечатлениям, описывает первые шаги молодого деревенского учителя.

„Когда я окончил второклассную школу и получил свидетельство учителя грамоты, я был очень счастлив“, — так начинается рассказ. — „Будущее мое представлялось мне таким милым и привлекательным, что от восхищения перед ним, несмотря на свои девятнадцать лет, я готов был прыгать, мальчишествовать и смеяться до слез...“

Но уже первые впечатления от школы повергли молодого учителя в горестное разочарование:

„С внешней стороны здание школы имело еще некоторую, так сказать, видимость, благообразие, но внутри — грязь, теснота и сплошное убожество... Стекла в окнах наполовину перебиты; рамы гнилые. Стены замазаны пылью, копотью, паутиной. В „классе“ стоят три парты, сколоченные из горбылей, а четвертая валяется на полу, видимо не желая больше служить „народному просвещению“... Рядом с ней валяется расколотая доска с одной ножкой... В переднем углу — высокий иконостас — „божница“, а перед иконостасом на грязной тесьме бултыхается стаканчик для деревянного масла... В заднем углу, рядом с печью, досчатая перегородка с одним окном на пустырь. Около окна — крошечный столик неопределенного цвета — и длинная скамья, заменяющая мебель... Это „квартира“ для учителя. Поодаль от стола — книжный шкаф, несколько рваных учебников, две-три разбитых чернильницы, мышиный помет, а всё в совокупности — школьная библиотека“.

Попавший в такие условия работы молодой учитель пришел к естественной мысли — обратиться за помощью к крестьянам — ведь их дети учатся в школе. Но и тут его ждало разочарование. Крестьяне вовсе не склонны были хоть что-нибудь делать для школы. Разговор со старостой произвел на учителя удручающее впечатление. Сначала он наивно думал, что староста сам к нему придет. Тщетно прождав некоторое время, отправился его отыскивать. Выслушав сетования учителя, староста сказал:

„— Заколотить ее надо к лешему.

— Что заколотить?

— Училищу-то вашу... Купить горбылей и заколотить... Вы думаете, нам польза от нее какая? Вот де она сидит у нас, это польза-то! — и указал на шею. — Замучились! Дров давай, карасину давай, на сторожа давай, на поправки, а каснись бумагу написать, все равно в люди ходим и дураками сльзем...“

По-своему, староста был прав: церковно-приходская „школа грамоты“ слишком мало давала полезных знаний для крестьянина. Если даже ученик и хорошо кончал курс, то в последующей жизни ему мало на что могли пригодиться заученные стихотворения, вроде: „Птичка божия не знает ни заботы ни труда“, „Где сладкий шопот моих лесов“¹ и т. д., или умение отличить определение от обстоятельства, а также и умение решать некоторые арифметические задачи типа: „Резервуар имеет три отверстия, через одно он наполняется водой в 1 ч. 17 м., через другое в 2 ч. 12 м. и т. д.“... Староста был прав, но учителю от того было не легче. Потянулись тяжелые, неприглядные, „серые“ дни в грязной, пыльной, непротопленной школе.

С горя учитель начал выпивать, и в пьяном бреду ему грезился его предшественник, который говорил:

„— Пьешь, товарищ? По-хорошему? Я тоже когда-то так делал...“

Иногда ходил за 6 верст к соседу-учителю, Петеньке Ховрину. Тот уже 6 лет тянул лямку и пришел к убеждению, что все равно ничего хорошего сделать нельзя:

„— Все, на что я, по глупости, тратил силы, тратил молодость,—говорил он,—все это—напрасная работа, переливание из пустого в порожнее...“

Такова эта жизнь сельского учителя в глухой деревушке, в какой-нибудь Желобовке или Письмири,—жизнь „без цветов“.

При малейшей попытке проявить свою инициативу, учитель сейчас же брался под подозрение в смысле „политической неблагонадежности“.

В рассказе „Страх“² в Селезневскую школу приезжает учитель Николаев. У него ничего нет, „даже чемодана“.

„Пальто „не суконное“, старое, фуражка плохонькая, а калоши,—только слава, что калоши“.

Приезд нового лица в деревню—событие. Любопытство сельских „интеллигентов“ возбуждено. Псаломщица сразу же сделала открытие: подсмотрела в окно, что учитель жжет в печке какие-то бумаги. Дьячок рассказал попу; тот решил,

¹ Один из моих товарищей детства, П. Б. Молостов, выучивший это стихотворение в сельской школе, произносил его так: „Где сладкое шапóт моих лесов“... и, разумеется, никак не мог объяснить, что это значит. Н. Ф.

² „Жизнь для всех“, 1915, № 8—9, столб. 1258—1262.

что—„из этих, значит... из красных“. Установил наблюдение. Заметил как-то у учителя открытку с портретом Л. Толстого, стал допытывать учеников, не говорил ли им что учитель про „еретика и богоотступника“ „графа Толстого“... А в скором времени „о. благочинному“ было уже известно, что учитель Николаев — „личность во всех отношениях подозрительная“.

В такой атмосфере трудно, конечно, было думать о какой-нибудь общественной работе.

Тяжолой доле учителя-одиночки посвящен и рассказ „Учитель Стройкин“, напечатанный в „Русском Богатстве“¹.

Иван Петрович Стройкин — человек „с правилами“, любит во всем порядок, встает по будильнику. У него учатся 48 мальчиков и 12 девочек, но и в классе у него порядок. Однако, дело его не удовлетворяет. У него „нервы“, хандра, скука. Разговаривает сам с собой, с „предметами, не умеющими отвечать“; развивается мнительность; он подозревает, что поп что-то имеет против него и „не уважает“, так как не зовет его к себе „в гости“. А единственная возможность хоть изредка развлечься — пойти в гости к тому же попу, у которого собирается по праздникам большая компания. Наконец, от попа присылают за ним кухарку. Стройкин идет, но держит себя неловко, смешно; заводит речь про политику — оскандаливается. Решил потихоньку уйти, и ушел было, но подумал, что выйдет очень неудобно — вернулся. Обращает внимание на одну молоденькую симпатичную учительницу. Заговаривает с ней, но так неудачно, что та уходит от него, сославшись на головную боль. Он проявляет настойчивость, выходит ее провожать, когда она уезжает, так жмет ей руку, что хорошенькая учительница обзывает его „невежей“... Опять Стройкин дома, один, опять разговаривает сам с собой, а так хочется любви, участия. По совету сторожа он посылает за водкой. На другой день „батюшка“, придя в школу на урок, с удивлением увидал, что в школе никого нет, а учитель и сторож пьяны. В пьяном бреду учитель видит, что приходит к нему та учительница, говорит, что любит его, он же ее „отвергает“... К занятиям Стройкин вернулся не скоро..

Но, если учителю и улыбалось „личное счастье“, удавалось жениться, то радости также мало сулила ему судьба. В рассказе „Дети“² перед нами — семейный учитель Муханцев.

¹ „Р. Б.“ 1911, № 3, стр. 167—193.

² „Жизнь для всех“, 1916, № 1, столб. 25—38.

В 9 час. веч. он уже лежит на кровати; спать не хочется; бесцельно смотрит в потолок. У него жена, двое детей, ожидается третий. Первого ребенка встретили радостно, даже созвали гостей и устроили угощение. Когда родился второй, гостей уже не созывали, а ребенку отец желал смерти. Но он не умер. И вот ожидается третий. Что делать при 20-рублевом жалованьи? Неблагополучно в этом отношении и у попа. Когда попадья „ходила шестым“, поп ей сказал: „Ты что это, Анюта, с ума что ли сходишь? Больше не надо“. Попадья „не послушалась“, родила еще троих. Из девяти — четверо померли, пятеро — два сына и три дочери — выжили. И попу тяжело, но у него все же сыновья учатся в гимназии, дочери — в епархиальном. А как быть учителю? И оглядываясь на своих, ползающих на полу, он думал: „А я куда направляю?“ Поп советовал ему бросить учительство и „посвятиться“. Но на это Муханцев не мог пойти.

Как быть, учитель Муханцев не знал. Не знал, повидимому, и автор. Он только ставил проблему, решить же ее не умел.

Не менее безотраднa жизнь и сельской учительницы. О ней Неверов написал большой рассказ „Серые дни“¹, посвященный П. А. Зеленцовой. В рассказе — две учительницы-подруги: Валентина и „Катрик“. „Валентина — это почти я, — говорила мне Пелагея Андреевна; — в рассказе описана моя комната, моя кошка“. Краски, повидимому, автором несколько сгущены. Воспользовавшись реальными впечатлениями, он дает обобщенное, типичное.

„Валентина — учительница из Степановского прихода. Ей двадцать пять лет. Посмотришь пристальнее — назовешь старухой. Спина согнута, плечи заострены, походка вдумчивая, неуверенно-тихая. Шаги мелкие, осторожные. Глаза осели, ушли на дно, смотрят устало, неохотно, безнадежно-выгорающе. Лицо затянuto печалью.

Восемь лет в Степановском приходе и — старуха“.

И не мудрено:

„С восьми часов утра работает в школе, учит семьдесят человек. Сердится, обижается, украдкой вытирает глаза. У нее часто кружится голова, от длинного тяжелого дня начинает тошнить. Сердце наливается желчью, раздражением, а во рту

¹ „Русское Богатство“, 1910, № 3, стр. 155—172; перепечатано в сборнике рассказов „Серые дни“, М., 1924. Цитирую по последнему изданию.

становится сухо и едко. С занятий приходит слабая, замученная, покачивается на ногах, точно опьяненная, сжимает голову:

— Ой, как я устала.

Ляжет в кровать и не может уснуть. Закроет глаза, а глаза раскрываются, испуганно смотрят в черноватую стену...

Ее подруга, Катрик,—от такой жизни превратилась в изнервничавшуюся истеричку:

„— Я хочу жить. Я еще не любила. И не знаю любви. Маленькое „я“. Ма-ленькое... Не убивайте... Я хочу жить... Слышите: хо-очу-у...

... Уехать, что ли, куда-нибудь... Или уйти...

А уехать и уйти некуда и не к кому.

В Липовке за семь верст учитель-алкоголик. Никуда не ездит сам и никого не принимает. По вечерам запирается, окна завешивает, чтобы не видели, и в мрачном одиночестве пьет до слез, до глухого проклятия... К такому не поедешь...

Был еще учитель в Гороховом, но теперь в тюрьме... второй год. На месте его — человек незначительный, мелкий карьерист, пошляк и заноза...

Близкий человек — одна Валентина. Но скучно и у нее.

К ней Катрик приезжает также только затем, чтобы плакать и истерически жаловаться на свою судьбу.

Такова была жизнь среды, к которой принадлежал Неверов. Но сам-то он был не такой. Сам-то он горячо верил в возможность плодотворной работы, и в своих произведениях, правда — робко, пытается эти возможности намечать.

В рассказе „Дело от безделья“¹ учительница Рожкова летом, от скуки бродя по деревне, обратила внимание на беспомощное положение ребятишек и предложила бабам свой уход за ними, задумав организовать нечто вроде детского сада. Удалось ли это ей сделать или нет — неизвестно. Рассказ обрывается тревожным вопросом:

„Одного боялась Рожкова: хватит ли силы. Одиноких было много, горе попадалось на каждом шагу, выглядывало из каждого окошка, и сердце тревожилось: — хватит ли силы?“²

¹ „Жизнь для всех“, 1916, № 10—11, стлб. 1185—1191; перепеч. в сборнике „Серые дни“, М., 1924; цитируется по последнему изданию.

² В основу этого рассказа положен действительный факт. „В большом селе, — рассказывает П. А. Неверова, — недалеко от нас тогда учительницы летом брали маленьких детишек у одиноких баб и нянчились с ними в летнее время, когда бабы были на работах в поле... А. С-вич слышал об этом, как знала и я“...

Но, повидимому, этот редкий случай был каплей в море, и Неверов, отметив его в своем рассказе, как один из возможных в то время видов общественной работы учителя, не был настроен особенно оптимистически, чем объясняется и неясный конец рассказа.

Интереснее другой рассказ этого же типа — „*Волшебный фонарь*“¹. В нем изображается также необычайно деятельная учительница, которая ходила по крестьянским избам, допытывалась, как живут, старалась помочь советом, а по вечерам сзывала в школу на чтения с волшебным фонарем.

„Школа стояла десять лет, перебивало в ней одиннадцать учителей, и только двенадцатая сумела зажечь эту нехитрую лампу, на которую, как бабочки в окно, полетели жадные к свету, живущие во мраке“.

Впрочем, „свет“ этот был не особенно „светлый“ — собравшиеся в школе сначала поют „Царю небесный“, потом „Боже, царя храни“; картины показываются тоже более „божественные“ — Христос в пустыне и т. п. Но все же образ такой учительницы весьма любопытен. Однако, если такие и были, то они были редкими исключениями в той глуши, где жил Неверов.

Сам он, конечно, был таким исключением. У нас еще нет достаточных материалов, чтобы охарактеризовать его просветительскую работу в деревне.

Но, во всяком случае, по тем сведениям, которые имеются, можно сказать, что он не складывал рук, не спился, не смотрел длинными вечерами от безделья в потолок; к делу относился с горячим интересом, всегда пытался заниматься общественной работой, не говоря уже о литературном труде, на который уходили почти все его досуги.

„За дело он взялся, я знаю, с увлечением, как и за все всегда брался, — рассказывает Пелагея Андреевна. — А. С. был увлекающийся человек. За все брался с большим жаром, которого хватало очень не надолго. Будучи учителем, он занимался очень добросовестно, детей любил. После занятий иногда до вечера пел с ними песни, играл в лапту и т. д. Помнится мне, что и волшебный фонарь он просил у земской управы, чтобы

¹ „Жизнь для всех“, 1916, № 9, столб. 1073—1080. В основу его, по словам П. А. Неверовой, был положен тоже действительный факт.

вести в школе чтения и беседы, показывая картины. Фонаря не прислали. Война помешала“.

Но, конечно, несмотря на любовь к детям и к делу, школьная лямка не могла порою не надоедать:

„В школе сидят ребятишки,—пишет А. С-вич Лаврентьеву.— А заниматься не о-хо-та... Ну, самостоятельные работы у учеников кончились—иду заниматься. Докончу после занятий“... И дальше: „6 часов вечера. Свободен...“

Отношения к крестьянам у А. С-ча также были недурные—он был „свой“ человек.

„Крестьяне А. С. очень любили,—сообщает П. А-на.— Он с ними очень дружно жил. Но в то время запрещались частые собрания и беседы с крестьянами...“

У властей Неверов был всегда на дурном счету.

„Вообще он считался „неблагонадежным“,—рассказывает П. А-на,—и всегда за ним следили. Например, когда его, уже женатого, перевели в Самарский уезд, в дер. Супонево, то, кажется, через неделю, навестил его урядник—значит, ему уже была дана инструкция. Потом в Елани, где мы с ним учительствовали до конца нашей службы, тоже часто приходил урядник. А попы, так всегда за ним следили. В деревне в то время поп—это все. И нам, учителям, приходилось жить с ними дружно, иначе всегда доносили—и учителей „убирали“. А. С., живя в деревне на 10 руб., часто должен был угощать попа, своего заведующего школой, вином, чтоб жить с ним дружно...“

Одним из больных вопросов для А. С-ча в то время был вопрос о пьянстве. Условия жизни и культурный уровень окружающей среды были таковы, что и самому ему приходилось пить, разделяя в этом смысле печальную судьбу ряда русских писателей, особенно тех, которые происходили из слоев, впервые соприкасающихся с культурой. Даже если не было болезненных предрасположений организма (а у Неверова и отец пил), при отсутствии с детства воспринятых культурных традиций, при неумении строго размеренно работать, при жизни в малокультурной обстановке, интеллигенты-выходцы из некультурной среды, особенно при отрыве от трудового коллектива, очень часто у нас предавались дикому занятию самоотравления.

Не избежал этого и Неверов. Такие печально-трагические признания читаем мы по этому поводу в его письме к И. Е. Лаврентьеву от 25/IV 1914 г.:

„Я ведь часто бываю болен, безнадежно кисну и впадаю в тоску и уныние... А раньше даже пил и пил помногу. Теперь этого нет: жалею расстраивать жену своими выпивками. Пить понемногу я не умею, но пью только до разу. На утро мне водки не нужно, будь хоть она сусального золота. Прибегаю к ней в тех случаях, когда устану, когда в голове моей получается застой, а всколыхнуть его в деревне нечем. И после попок у меня всегда „проясняется“ (!)¹. Иногда чувствуешь в себе какой-то зуд, чешется что-то в тебе, просится наружу, а вытащить его не сумеешь, а если и вытащишь — не то, ну, рассердишься и выпьешь стаканчик с друзьями“.

Но, если Неверов сам не раз и „срывался“, а в тяжолую минуту даже готов был чуть ли не оправдывать пьянство, то теоретически он признавал всю его гибельность и не мало сил посвятил вопросу о борьбе с ним и пропаганде трезвости.

Уже говорилось об его участии еще на школьной скамье в „Обществе трезвых взглядов“ и о сотрудничестве в трезвенных журналах. В „Вестнике Трезвости“ он поместил всего пять рассказов и, кроме того, два — в журнале „Трезвая Жизнь“ — все агитационно-противоалкогольного содержания.

Любопытен уже первый рассказ — „Горе залили“², как потому, что он — первый, так и по содержанию.

В селе Дубнове сидит кучка голопольских мужиков. Приехали на базар. Выпрашивают у подвыпившего кулака Микиты Степаныча „на бутылочку“. Выпивши, начинают разговор „про свою нужду и чужое счастье“:

„— Каторга, а не жизнь... Земли мало, да и та кругом в барской. Прижали так, как ужа вилами... Работаешь лето летнее, а придет зима, — кусать нечего. Заплатили подати, — ан, глядишь, остались нагишом. Впереди нужда. Приходится или продавать последнюю овцу, если она есть, или надевать суму и итти по миру...“

Такой разговор возбудил и без того подогретые вином чувства. Голопольцы вспомнили, что дома у них остались одни дыры, а заплатать их нечем. Мысль о нужде, о завтрашнем дне, о детях, об их плаче, как ножом по сердцу ударила. Веселость на время уступила место грусти, тоске. А чем помочь? — Так лучше и не думать...“

¹ Подчеркнуто в подлиннике.

² „Вестник Трезвости“, 1906, март—апр., № 135—136, стр. 31—39.

„Помочь“, впрочем, можно — водкой. Мужички пропивают последние деньги, забыв о покупках и о неминуемой ругани жон. Вечером все ходили обнявшись и орали песни. Утром дядя Антон с оставшимися 8 коп., ничего не купив, поехал домой. „Остальные еще опохмелялись...“

Аналогично содержание и другого рассказа — „Приехали на базар“ ¹. Началось с полбутылки. Встретили мужика, который продал лошадь за 30 руб. — потащили его „вспрыскивать“ и довспрыскивались до того, что поехали домой ни с чем.

В рассказе „Под песнь вьюги“ ² мужик Арефа отправляется за хлебом в другое село. Хлеба не дали; с горя зашел в кабак. Пьяный в метель замерз.

В рассказе „Три года“ ³ приехавший в деревню солдат в пьяной компании подрался, да так исколотил одного парня, что тот умер. Солдат попал в тюрьму, мать с горя умерла, отец пошел отыскивать сына и также в дороге свалился.

Интересно ставится тема в рассказе „Свой человек“ ⁴. В волостном правлении тревожный день — идет учет волостного старшины Ивана Кузьмича Хапова и предстоят новые выборы.

„Иван Кузьмич — мужчина лет за сорок, с жирным, красным лицом, с светлой, лоснящейся, как у быка, шеей“.

Конечно, он — мошенник, обкладывает мужиков незаконными поборами, растрчивает собранные мирские деньги. Есть и другой кандидат: „Степан Григорыч, молодой мужик, лет под тридцать, начитанный и не льющий“, и часть народа „кричит“ за него. Но... Хапов посулил „полведра“ и..., конечно, был торжественно избран вновь старшиной.

Наиболее интересным и сильным в этой антиалкогольной серии является рассказ „Авдотьиная жизнь“ ⁵, в котором Неверов впервые подходит к одной из своих основных тем — о тяжелой бабьей доле.

Иван Залудай пьянствует, „а жена слезы льет“. Сбив замок с сундука, муж берет последние пятаки, спрятанные про черный день.

¹ „Вестник Трезвости“, 1907, февр., № 146, стр. 39—45.

² „Трезвые Выходы“, 1908, № 6—7, июнь—июль, стр. 51—61.

³ Там же, 1908, № 10, окт., стр. 9—38.

⁴ „Вестник Трезвости“, 1906, дек., № 144, стр. 35—44.

⁵ „Вестник Трезвости“, 1907, сент., № 153, стр. 28—31.

„— Иван! — Авдотья судорожно вцепилась пальцами в полы его кафтана. — Иван! Отдай, не бери... Это не твои.

— А-а! не мои... — обернулся Залудай. — Та-ак... — пьяные глаза его зло засветились, а жилы на лбу налились кровью: — так сказывай, подлюга, чьи они? — И здоровая рука Ивана перехватила слабое горло жены. — Говори, сказывай, кто тебе носит их, называй своих любовников, а не то сейчас дух вон! — дико кричал озверевший человек.

— Не скажешь... Так вот тебе, н-на!... — и большой заско-рузный кулак сшиб жену с ног. Муж завил в ее длинные, когда-то красивые волосы свои отекавшие пальцы и стал вымещать свою злобу и горечь на этом несчастном твореньи...“

Через несколько времени —

„... Авдотья лежала на грязном полу без чувств. Желтое лицо сделалось синим. Правый глаз распух и закрылся. Из виска сочилась кровь.

— Жену учит, — говорили под окнами любопытные соседи и соседки. — Замаял, подлец, бабенку-та! — сожалели некоторые...“

Когда, натешившись, Иван ушел, перепуганные и попрятавшиеся детишки подошли к матери:

„— Мама, встань!... Мамка! Он ушел... Его нет, — звали они ее.

Анютка стояла на коленях и, глядя на черные иконы, горячо шептала:

— Господи, накажи тятку за маму... Убей его, злого... Он страшный... я боюсь...

Глаза ребенка светились верою и большим гневом...“

На утро Залудай одумывался и вез жену в больницу, но...

„через месяц Иван снова напивался пьян, попрежнему коло-тил и ломал ребра жене...“

„Обычная история, — не правда ли?“ — заканчивает Неверов свой рассказ.

Оригинален и рассказ „Сон Лукьяна“¹:

Пьяный мужик едет под пасху домой; ему привиделся чорт, с которым он вступает в разговор. Между прочим, чорт говорит ему следующее:

„Разные, ведь, Лукьян, и попы есть... Иной поп почище меня одурачит вас... Все ваши ошибки, все слабости припи-сывает мне... И вы думаете, что без меня и жить нельзя...“

¹ „Вестник Трезвости“, 1907, май, № 149, стр. 38—44.

Думаете, что я вам порчу жизнь... Вот ты пьян, и когда об этом узнает поп, то станет журить тебя, а ты прямо на меня: „грешник-де, батюшка, чорт смутил“. А я и не смущал, а смущало тебя горе, нужда твоя... А кто навязал тебе их? — Люди. Будь они справедливее к тебе, было бы у тебя меньше горя, меньше зла... Будь поп Иван откровеннее, открывай он людям больше правду, указывай смелее на их зло, а не приписывай все только мне, тогда бы он лучше всех крестов и заклинаний лишил меня силы...

...Вино само по себе вещь незначущая. Но важное зло в нем — та ложь, которую тебе подносят в нем. Ты пьешь его, оправдывая это слабостью и смущением дьявола, а люди видят это и спокойно гонят тебя в кабаки, где ты топишь свою душу...

Слова, по тому времени, даже довольно смелые.

Любопытно, что, кроме очерков беллетристического содержания, Неверов выступил в печати и со статьей на весьма интересную тему об агитации против пьянства через школы. Эта статья помещена в № 8—9 „Трезвых Выходов“ за 1908 г. под несколько наивным заглавием: *„Алкоголизм, как обязательный предмет преподавания в начальной школе“* и подписана: *„Учитель Александр Неверов“*. Идея статьи ясна уже из заглавия. Начинает А. С-вич с картины пьяного царства:

„Посмотрите в деревенскую глушь: пьет учитель-полуинтеллигент, пьет священник, пьет и мужик. Пьют подростки, пьют женщины... Все пьют!.. Всюду только—пьяные слезы, пьяные жалобы“.

Во многих случаях жизни пьянство узаконено обычаем — пьют на свадьбах, на „праздниках“ и т. д. По мнению Неверова, многие пьют оттого, что не понимают вредного влияния алкоголя на организм. Надо вести агитацию через школу, — „школа должна взять на себя борьбу за отрезвление деревни“, и должна сделать это, по мнению А. С-ча, не дожидаясь соответствующих распоряжений начальства.

Таково содержание этой статьи Неверова. Конечно, многое в ней отзывается самым наивнейшим идеализмом, — как будто могли что-либо сделать забитые сельские учителя в то время, когда спаивание народа было введено в правительственную систему и весь наш бюджет был построен на доходах от винной монополии! Но, тем не менее, статья симптоматична и любопытна ¹.

¹ Кроме того, Неверов предполагал составить антиалкогольную литературную хрестоматию и собрал для того не мало материала. Среди бумаг, переданных

Сотрудничество в „трезвенных“ журналах не могло удовлетворить начинающего писателя, как потому, что невозможно же было писать исключительно на тему о пьянстве, — а ничего другого эти журналы по своим заданиям печатать не могли, — так и потому, что журнальчики эти имели небольшой круг читателей и, что называется, „дышали на ладан“¹. Кроме того, издательнице П. А. Неверовой для подготовки собрания сочинений А. С-ча, оказалась и рукопись этой хрестоматии, точнее — ее начала. Вот ее содержание:

Тетрадка, форматом в четвертушку, имеет такое заглавие: „№ 1. Для хрестоматии. I. Бытовой отдел. Подбор пока несистематичен“. В конце приписка: „Собрано из рукописей и переписано 28 июля, вторник, 1909 г. Работал с обеда и до часу ночи. Очень утомился, но ко сну почему-то не клонит. А. С. Скобелев“. В „хрестоматию“ входят следующие вещи: „Погибший сын“, по Христине Рой; „Житейское море“, стихотв. еписк. Гермогена; „Божий человек“, рассказ А. В. Круглова; „Печальная история. (Рассказ преступника)“ — А. Рубио; „Старик Покровский“ — из Достоевского; „Сиротка“ — из Достоевского; „Яшка Беспалов“ — А. Серафимовича; „Деревенские картины“, стих. Некрасова; „Катерина“ — его же; „Пьяницы“ по соч. Василия Великого; „Что сделал стакан водки“, д-ра Рубио; „Обман“, св. Г. Петрова; „Какие бывают пьяницы“, пр.-доц. Ф. Рыбакова; „Ночь“, ст. Хомякова; мелкие отрывки и изречения из Достоевского, Лескова, Л. Толстого, Библии и пословицы. Подбор этот крайне интересен для характеристики круга чтения Неверова в то время. Но самое любопытное — это то, что Неверов включил в тетрадку и несколько *своих* произведений (за подписью: „А. Н-ва“), а именно: „Страшное место. Рассказ“ („страшное место“ — кабак, где происходит убийство); „Водка—Госпожа“ („По Наумовичу“), „Отчего пил водку бедный мужик“ и „Притча о вине“. Кроме того, помещен и рассказ „Авдотьяна жизнь“, но в значительно сокращенной и измененной, по сравнению с текстом „Вестн. Тр.“, редакции, вследствие чего много выиграл в яркости и выразительности. (В виду того, что сравнение обоих вариантов этого рассказа крайне любопытно, как показатель кропотливой работы Неверова над текстом своих произведений еще в самом начале его писательского пути, упоминаемый переработанный текст был воспроизведен мною в примеч. к I т. собр. соч. Неверова, но изд-во уже в корректуре исключило его; поэтому воспроизвожу этот текст в виде приложения к настоящей книге [см. стр. 208—209]; первоначальный текст — в I т. собр. соч.).

¹ Высылая Неверову гонорар (10 р.), издатель журнала „Вестник Трезвости“ — доктор медицины Н. И. Григорьев на обороте отрезного купона перевода (СПб 12.7.07) лаконично писал:

„Спасибо. Пока не присылайте ничего, так как дела В. Т. не так хороши. Шлю из своих средств. Н. Григорьев. VII. 13“.

Впрочем, через некоторое время Неверов получил от доктора Григорьева еще гонорар — 25 р. (позметка рукою Неверова: „получено 6 февр. 8 года“), с более милостивым обращением: „Если уж хотите что дать, то дайте из жизни солдат или новобранцев, как губит их водка“. Но, повидимому, на заказ Неверов писать не пожелал, и в след. году он уже сотрудничает в другом „трезвенном“ журнале — „Трезвые Выходы“, издаваемом свящ. Галкиным.

„Трезвой Жизни“, некий священник Галкин, к тому же еще и „надул“ Неверова: по словам П. Ярового, перепечатал его рассказы отдельными брошюрами, но ни копейки ему за это не заплатил¹.

А. С-ч решает попытать счастья в „толстых журналах“ и посылает рассказ „Музыка“ в „Современный Мир“, где он и был напечатан². Так совершилось вступление Неверова „в большую литературу“. Однако, стать постоянным сотрудником „Современного Мира“ ему не удалось, — журнал предъявлял довольно высокие требования к беллетристическому материалу.

Тогда А. С-вич обращается в „Русское Богатство“, и там ему удается напечатать два рассказа: „Серые дни“ — в мартовской книжке за 1910 г. и „Учитель Стройкин“ в мартовской же книжке за 1911 год.

Сотрудничество в „Русском Богатстве“ дало возможность А. С-чу вступить в переписку с В. Г. Короленком, который отнесся к нему с большим сочувствием, что было крайне

¹ Справедливость требует, однако, отметить, что этот же священник Галкин был одним из первых, оценивших талант А. С-ча, о чем свидетельствует следующее письмо-открытка:

„Мая, 5-го дня.

Многоуважаемый Александр Сергеевич! Рукопись Вашу получил и сейчас прочитал. Мне она очень понравилась. Пойдет в июньской книжке журнала.

Не могу не восторгаться от тех задатков литературного творчества, которыми Вы несомненно обладаете. Если Вы будете больше читать и больше упражняться в своих занятиях литературным трудом (который бросить, сохрани Вас боже!), из Вас выработается настоящий большой писатель. Не обижайтесь за искренние строки, которые невольно вырвались из сердца после чтения Вашей статьи. Господь да сохранит Вас.

Ваш — Свящ. Мих. Галкин.

Сделал распоряжение о высылке Вам журнала“.

На обороте адрес: „Чердаклы, Самарск. губ., село Озерки. Учителю Александру Сергеевичу Скобелеву“ — и помета А. С-ча: „получ. 15/г 08 г.“.

В письме идет речь о рассказе „Под песнь вьюга“, который и появился в № 6—7 „Трезвых Выходов“ за 1908 г. Хотя свящ. Мих. Галкин, вероятно, даже с точки зрения начинающего Неверова не представлялся большим литературно-критическим авторитетом, но, тем не менее, его одобрение не могло не подбодрить А. С-ча, который как раз в это время отваживается подумать и о более солидных журналах, чем „трезвенные“.

² „Совр. Мир“, 1909, авг., стр. 81—95. По словам М. П. Миклашевского-Неведомского, отношение редакции к неизвестному начинающему писателю определилось не сразу. В общем, рассказ был признан слабым, но М. П. Миклашевского заинтересовала остро поставленная социальная тема, и он настоял на том, чтобы рассказ был принят.

важно для неуверенного в себе Неверова, окрылило его, дало веру в свои силы, хотя и не все то, что писал Короленко, могло быть приятным для молодого писателя.

У Пелагеи Андреевны хранятся три письма В. Г. Короленка к А. С-чу, которые я, с ее любезного разрешения, и воспроизвожу, как необычайно важные в жизненной судьбе Неверова, с одной стороны, а с другой стороны,—как очень характерные и для В. Г. Короленка ¹.

„Осенью 1909 г., — рассказывает Неверов, — в пору первых своих литературных шагов, послал я в „Русское Богатство“ рассказ „Серые дни“, из жизни сельских учительниц... Не помню теперь, как тяжело тянулись для меня дни ожидания ответа. Помню только, что вообще дни ожидания редакционных ответов были самыми тяжелыми днями в моей жизни.

Прошло несколько месяцев. Наконец, узнаю, что рассказ принят. Радость, конечно, трудно измерить. 4 февраля 1910 г. получаю письмо в узеньком конверте с совершенно незнакомым мне почерком — чётким, ровным, немного заостренным. Долго думаю — кто пишет? Смотрю на почтовый штемпель — „Полтава“. Сердце бьёт тревожно. Разрываю конверт. В конце письма стоит подпись — Вл. Короленко. Я не ждал такой радости. Чем же было вызвано письмо маститого писателя к молодому начинающему автору? Как малоопытный новичок, я, как припоминается мне теперь, нуждался в поддержке, в признании моих литературных способностей и, кроме того, вероятно, как это бывает с новичком, пожаловался на деревенскую жизнь, признавался, что недурно было бы поехать в Петербург, пожить, поучиться там. Вот все это я послал вместе с рассказом. Письмо попало в руки Владимиру Галактионовичу, и чуткое сердце его не преминуло откликнуться, ободрить и предупредить меня от возможной опасности. Я, как понял он из письма, мог переоценить первый литературный успех, покинуть раньше времени деревню, переехать в столицу с надеждой на будущие литературные

¹ Два первые письма были напечатаны самим А. С-чем в статье, посвященной памяти В. Г. Короленка, под заглавием: „Чуткое сердце. Воспоминание о В. Г. Короленко“ в самарской газете „Коммуна“ в начале 1922 г. (В. Г. Короленко умер 25 декабря 1921 года). Текст писем воспроизведен не вполне исправно, второе же письмо напечатано с значительным пропуском в середине. В библиотеке им. Ленина, б. Румянцевской, № „Коммуны“ с этой статьей Неверова не оказалось; повидимому, он выкраден. Я пользовался сохранившейся у П. А. Неверовой вырезкой. Статья А. С-ча очень интересна не только как „воспоминание“ о Короленке, но и как воспоминание о своих первых литературных шагах, являясь дополнением к его автобиографии. Привожу из нее ряд цитат. Письма цитируются мною по подлинникам полностью, с возможной точностью.

успехи и, чего доброго, совершенно пропасть, благодаря слабому, еще не окрепшему, дарованию.

Вот что он писал тогда:

„Милостивый Государь.

Кажется, от П. Ф. Якубовича¹ Вы уже получили ответ относительно Вашего рассказа „Серые дни“. Он будет напечатан в „Русском Богатстве“. В этом уже до известной степени заключается ответ и на тот общий вопрос, который Вы поставили в Вашем письме в редакцию. Как видите, — пытаться дальше стоит. Мне хочется только предостеречь Вас от слишком решительных *практических*² выводов из этого первого успеха. Всякую дальнейшую Вашу работу мы встретим с интересом, но не советую Вам пока бросать учительство и ехать в столицу, в надежде на литературную работу (о чем, судя по Вашему письму, Вы мечтаете). Это нужно делать весьма осмотрительно, твердо став на ноги. Одного опыта мало.

Желаю успеха.

Вл. Короленко.

23 янв. 1910³.

Неверов, действительно, мечтал о том, чтобы вырваться из провинциальной глуши, переехать в столицу, начать учиться. На все это нужны были, конечно, средства. Средств же у А. С-ча могло хватить разве только на дорогу до Петербурга. Жить Неверов рассчитывал на литературный заработок. Не веря в свои силы, он доверчиво обратился за советом в редакцию „Русского Богатства“. В. Г. Короленко прислал отрезвляющее письмо и разрушил его мечты о возможности порвать с опостылевшей деревенской жизнью. Но это отрезвление сопровождалось признанием его литературных способностей, категорическим заявлением „самого Короленка“, что „пытаться дальше стоит“. А этого было немало!

„Я не поехал в Петербург, — пишет А. С-вич, — но первый успех все-таки ослепил меня настолько, что я впал в грубые ошибки и потерпел литературное поражение“.

¹ Известный писатель, один из редакторов „Русского Богатства“. „В 1910 г. был радушно принят П. Ф. Якубовичем-Мельшиным в Р. Б.“ — писал А. С-вич И. Е. Лаврентьеву (цитированное выше письмо).

² Подчеркнуто в подлиннике.

³ На письме пометка рукою А. С-ча: „получ. 4-го февр.“.

Второе письмо, полученное от Короленка, было не особенно приятным для Неверова. Дело заключалось в том, что второй его рассказ, посланный в „Русское Богатство“, сначала принятый редакцией, потом был ею отвергнут. Вот как вспоминает об этом случае сам А. С-вич:

„Вскоре после рассказа „Серые дни“ написал рассказ „Преступники“, уверил себя, что он хорош, и послал опять в „Русское Богатство“. П. Ф. Якубович ответил, что рассказ, по своим литературным достоинствам, стоит ниже первого рассказа, но в нем чувствуется дарование, и он будет напечатан. В самый разгар своей радости, когда я окончательно решил переехать из деревни в город, чтобы пополнить свое образование, получаю огромный пакет со штемпелем редакции журнала „Русское Богатство“. Больно застучало сердце. Что же такое? На письмо не похоже. Наверное, что-нибудь случилось. В конверте оказался корректурный оттиск „Преступников“ и довольно большое письмо Владимира Галактионовича. Рассказ отвергался. Но чувствовало доброе сердце Короленка, как тяжол будет для меня этот удар, и он постарался смягчить его, внушить мысль, чтобы я не падал духом, и, вместе с тем, указал на целый ряд моих ошибок, как на продукт непродуманности и чрезвычайной спешки, с какой я погнал свою молодую литературную лошадку“.

Письмо В. Г. Короленка, надо сказать, было написано в довольно суровом тоне, но резкая критика „маститого“, вылитая на голову Неверова, как ушат холодной воды, действительно, была для него весьма полезна.

Вот текст письма Короленка:

„29 июля 1910¹“.

Милостивый Государь.

Мне очень неприятно писать это письмо, которое должно Вас огорчить. Дело вот в чем: при огромном количестве поступающих в редакцию рукописей, всегда возможен некоторый процент ошибок в ту или другую сторону. Такую ошибку допустила редакция по отношению к Вашему рассказу „Преступники“, который оказался принятым². Должен Вам сказать откровенно,

¹ Пометка рукою Неверова: „получено 30/ви“; письмо, таким образом, шло целый месяц.

² Открыткой от 4 апр. 1910 г. П. Якубович уведомлял Неверова: „Новый рассказ Ваш „Пр-ки“ также будет напечатан в „Р. Б.“. Если Вам интересно мнение редакции, я могу сообщить Вам, что „Серые дни“ показались нам оригинальнее по выполнению, но и „Пр.“ все же достаточно хороши и показывают, что у автора есть несомненное дарование“. (Помета Неверова: „получено 12-го

что рассказ этот очень слаб и, как для журнала, так и для начинающего автора гораздо лучше его не печатать. Основной недостаток — чрезвычайно слащавый сентиментальный тон. Точно идет не о взрослых мужиках, а о милых детках, которых злой староста обидел, увел *коровку*¹, лишил *кашки* и т. д. Все эти обращения то к *мужичкам* („милый, смешной мужичок из Кочаровки!“), то к месяцу („ты их не утешить... иди лучше к молодой поповне“) создают [тон]² тон совершенно невозможный: сентиментально, вычурно, неверно. Даже там, где мужики высаживают дверь в кутузке, — впечатление такое, точно распалились милые в сущности мальчики: бледно, лишено энергии, выразительности, силы. [По обсужден]² Если это не представляет Вам неудобства, — мы Вам вышлем бандеролью оттиски Вашей статьи. Вы увидите, какие старания были приложены, чтобы исправить изложение, сделать его более простым, правдивым и трезвым³. Но ничего все-таки не вышло: тот же тон сквозит между строк, и, по обсуждении в редакции, мы решили, что напечатать этого очерка мы не можем. Это, конечно, наша ошибка и [если очерк в скором времени не найдет себе места]² редакция (по обычаю) сочтет себя обязанной оплатить Ваш принятый труд. Всякую Вашу дальнейшую работу редакция „Р. Бог.“ встретит с интересом. Необходимо только отрешиться от этого сентиментального, как бы приноравливающегося к детскому возрасту, тона (Микеша, порхающий мотыльком по страничкам хорошенькой книжечки, — право напоминает какую-то пародию на сентиментальное народолюбие. Как можно связать в один образ *неграмотного* мужика и порхание над страничками)?!⁴ Не обижайтесь резкостью этого моего отзыва. Но один Ваш рассказ уже был напечатан. Быть может, у Вас что-нибудь выйдет, и мне хочется Вас предостеречь от совершенно неверных приемов.

С уважением

Вл. Короленко.

29 июля 1910⁴.

апреля“). В. Короленко, как видно из дальнейшего текста его письма, отнесся к этому рассказу совершенно по-иному, и его мнение взяло, разумеется, верх, но зато ему пришлось исправлять „ошибку редакции“ и писать Неверову объяснительное письмо.

¹ Здесь и дальше подчеркнуто в подлиннике.

² Поставленное в прямые скобки [] *зачеркнуто* в подлиннике.

³ Эти корректурные оттиски, с исправлениями стиля рассказа, сделанными, как можно полагать, рукою самого Короленка, без сомнения, были чрезвычайно полезным руководством для Неверова. Впоследствии он сам очень умело исправлял свои старые вещи: см. ниже, стр. 190 и след.

⁴ Все, столь зло высмеянные Короленком выражения и слова, не встречаются в печатном тексте рассказа.

„Тяжело было тогда читать суровые строки, равносильные изгнанию из редакции (так казалось в первые минуты), — пишет А. С-вич, процитировав это письмо, — но как я благодарил потом Владимира Галактионовича за правдивое слово! Оно заставило меня призадуматься, отрезвиться, глубже заглянуть в сущность литературного творчества и из бессознательного отношения к нему перейти в более сознательное. Я стал видеть свои ошибки, которых раньше не видел, и не одно спасибо послал я потом доброму, далекому учителю“.

Советы пошли Неверову явно на пользу. Новый рассказ, посланный после этого письма („Учитель Стройки“) был принят и напечатан, как уже говорилось, в мартовской книжке „Русского Богатства“ за 1911 год. Но вслед затем Неверова постигла новая неудача. О ней узнаем из третьего, еще нигде не опубликованного, письма Короленка. Письмо такое:

„15 июля 1912. СПбург.

Ред. ж. „Русское Богатство“.

М. Г.

Мне очень неприятно сообщать Вам о неудаче, особенно в таких обстоятельствах, когда на Вас это должно отразиться особенно тяжело ¹. Но — это одна из тяжелых сторон редакторской профессии, которую нельзя избежать.

„Болезнь“ ² не пойдет в „Русском Богатстве“. Главный недостаток — избыток тэмы (!) и страшная растянутость. Такая тэма, конечно, возможна, но лишь в том случае, если автор надеется на особенную яркость фигур и оригинальные черты, покрывающие банальность тэмы. И при этом нужна, вдобавок, свежесть и выразительная краткость: нельзя или очень трудно на этом построить большой рассказ или повесть.

У Вас, к сожалению, — вышло растянуто и бледно. И девушка, и учитель мало интересны сами по себе, а большие размеры рассказа получились вследствие того, что Вы подолгу останавливаетесь на деталях. Читатель вперед знает все, что произойдет, а Вы задерживаете его лишь ажурным выписыванием мелких и нехарактерных подробностей, чувств и мыслей действующих лиц. Эта ажурность, вдобавок, совершенно не в тоне описываемой среды. Она непосредственнее, свежее и грубее этих тонких полуощущений и полу-мыслей. Это тот же грех,

¹ Повидимому, намек на свадьбу Неверова.

² Рассказ этот не сохранился. У Неверова есть другой рассказ под тем же заглавием, написанный в 1918 г. Приводимая ниже в письме Короленка характеристика содержания рассказа 1912 г. говорит, что никакой связи между этими двумя „Болезнями“ нет. См. ниже в Добавлениях, стр. 196.

который мне раз уже пришлось отмечать в одном из Ваших очерков.

Пусть это Вас не обескураживает. Я надеюсь еще увидеть Ваши рассказы на страницах „Р. Богатства“¹, но следует работать над собой, над своим стилем и изложением. Наблюдайте и ищите формы, в которой было бы все „необходимое и достаточное“ для изображения описываемого предмета. Избегайте стилистических украшений, ничего не прибавляющих к изложению, и нехарактерных подробностей².

Рукопись высылается вскоре. Быть может, Вы пошлете ее еще куда-нибудь.

С уважением
Вл. Короленко“.

На этом переписка с В. Г. Короленком была порвана, но Неверов сохранил о нем на всю жизнь самые благодарные воспоминания.

„Даже теперь, перечитывая письма, — пишет А. С-вич, — меня поражает в них необыкновенная доброта... Нет ничего тяжелее, как сказать правду по поводу неудачного произведения и сказать так, чтобы не обидеть автора, не убить в нем остаток веры. Для этого нужно иметь необыкновенное чувство — понимать чужую душу. Этим чувством в высокой степени обладал Владимир Галактионович. На первых порах своей литературной деятельности, мне не раз приходилось получать официальные ответы редакций, напечатанные на бланках для всех неудачников: „М. г.! К сожалению, вашей рукописью воспользоваться не можем. Благоволите прислать почтовых марок на обратную пересылку. С совершенным почтением. — Редакция журнала (такого-то)“.

Пошлешь, бывало, рассказ в столицу, в письме на имя редакции разоткровенничаешься о своем одиночестве, расска-

¹ Эта „надежда“ не сбылась: больше Неверов в „Русск. Бог.“ не печатался хотя еще в 1913—1914 г.г. посылал туда повесть „Тоскующие и страдающие“ (письмо редакции от 25 янв. 1914 г. с извещением, что повесть отклоняется). См. след. примеч.

² Эти замечания не прошли даром для А. С-ча, тем более, что он вполне признавал их основательность. В 1914 г. он писал, вспоминая о своих неудачах в „Русском Богатстве“, И. Е. Лаврентьеву следующее: „После Стройкина посылал в Р. Б. еще раза три — отказы. Хотя виноват сам: потороплюсь, не обработаю и — на почту“. Неверов начинает упорно работать над своим стилем в указанном Короленком направлении. Впоследствии стиль Неверова отличался именно теми качествами, на которые Короленко указывал, как на идеальные — необычайной сжатостью, выразительностью, отсутствием всего лишнего, ненужного, второстепенного, всяких „нехарактерных подробностей“. Эти замечания Короленка могут быть очень полезными и для современных молодых начинающих писателей.

жешь, как живешь, как трудно писать, не имея около себя людей, понимающих литературу, и чуть не на коленях молишь редакцию указать твои недостатки, помочь советом, и получаешь в ответ печатный листок: „к сожалению, не можем“, и долго, долго думаешь над ним: почему не приняли“...

Получая эти письма в 1910, 1912 г.г., А. С-вич не только не мог думать, но и не поверил бы, если бы кто ему сказал, что всего через 10 лет он сам будет писать такие же чуткие, сердечные ответы молодым авторам, и к его советам литературный молодежь будет относиться так же, как сам он относился к письмам Короленка¹.

Кроме В. Г. Короленка, еще и другой знаменитый писатель оказал А. С. Неверову ценнейшую поддержку своим советом — это А. М. Горький. От него Неверов тоже получил три письма, одно из которых, к сожалению, не сохранилось, два же других воспроизвожу здесь. Первое из сохранившихся писем не имеет даты, но, повидимому, относится к тому же времени, что и второе, т.-е. к августу 1915 г. и написано в ответ на письмо Неверова². Письма М. Горького, на наш взгляд, проникнуты даже большей сердечностью, чем все же официально-сухие письма Короленка с традиционным „М. Г.“ в обращении:

¹ Об этой руководительской роли Неверова по отношению к молодым, начинающим писателям см. ниже, стр. 99—102.

² О начале этой переписки с М. Горьким Неверов рассказывает в письме к И. Е. Лаврентьеву от 2 авг. 1915 г. — следующее:

„Сообщаю вам некую новость. На-днях редакция журнала „Жизнь д(ля) в(сех)“ уведомила меня, что Вл. Алек. (т.-е. Поссе, издатель „Жизни для всех“ Н. Ф.) был у Горького, и у них был разговор о начинающих писателях из народа и, между проч., обо мне. Вл. Ал., видимо, отозвался обо мне сочувственно и Горький заинтересовался мной и просил прислать №№ жур(нала) с моими произведениями. Но редакция, в виду неимения некоторых №№, предлагает мне послать ему лично от себя все, что есть у меня напечатанного. Я написал Горькому, что сделать этого не могу, т. к. не имею теперь при себе №№ журналов, и дал ему только перечень их, если ему угодно будет прочесть“.

Вероятно, А. С-вич послал М. Горькому какую-нибудь свою вещь в рукописи, потому что в письме Горького говорится об одном, явно ненапечатанном произведении, которое А. С-вич, повидимому, просил М. Горького устроить в какой-либо „большой журнал“. Противопоставленными словами Неверова определяется и дата первого письма М. Горького, полученного в ответ на первое письмо Неверова: после 2 авг. 1915, но до 21 авг., когда было получено уже второе письмо; вероятнее — в первой трети августа.

„Александр Сергеевич!—писал М. Горький,—

Для большого журнала Ваш рассказ не достаточно значителен, да и по теме своей слишком уж обычен. Так много писалось у нас о людях, которые живут неведомо зачем¹.

Написали вы — не ровно. В начале — почти хорошо, а чем дальше, тем более скучно². Нет, попробуйте еще пописать, вы можете сделать лучше.

Времени нет, неудобная обстановка? Я понимаю это и не тороплю вас. Но я надеюсь, — более того, — я уверен, что вы должны и будете писать хорошо.

Пока — всего доброго!

Вам денег не нужно ли? Книг?

Сообщите.

Жму руку.

А. Пеш(ков)“.

А. М. Горький сам когда-то изведal тяжолую долю человека, которому своими силами приходится пробивать себе дорогу и в жизни и в литературе. Поэтому так понятна эта исключительная сердечность, которою звучит письмо. Стоит только сравнить, с одной стороны — официальное: „редакция сочтет себя обязанной оплатить Ваш принятый труд“, с другой: — „Вам денег не нужно ли? Книг? Сообщите“, — чтобы понять всю разницу тона двух знаменитых писателей. Но особенно дороги для А. С-ча были эти уверенные слова о его будущем: „вы можете сделать лучше“, „вы должны и будете писать хорошо“.

Второе письмо — также без даты, но имеет пометку А. С-ча: „Получено 21 августа 1915 г.“³. Писал М. Горький следующее:

„Уважаемый Александр Сергеевич!

Всю корреспонденцию для меня посылайте по адресу: Петроград, Лиговская, 44, 110, Книгоиздательство „Парус“, Ивану Павловичу Ладыжникову, для меня.

Прочитал „Среди запасных“⁴ — написано не дурно, метко, но — остерегайтесь выводов! Во дни такой страшной путаницы,

¹ О каком рассказ идет речь, мне не удалось установить.

² Тут А. М. Горький весьма метко указывает на основной недостаток композиции рассказов Неверова. Даже в некоторых лучших вещах у него конец слабее начала. Ряд рассказов Неверова производит впечатление как бы не оконченных или оборванных, или конец явно скомкан.

³ Письмо адресовано так: „Иващенко, Разъезд Самаро-Златоустовской ж. д., Александру Сергеевичу Скобелеву, 4-ая рота, 690-й дружины“ (в начале 1915 г. Неверов был призван на военную службу).

⁴ Такого рассказа Неверова в печати нет: возможно, что речь идет о рассказе „Среди ополченцев“, напечатанном в № 1 „Жизни для всех“ за 1915 г.

каковы наши дни, — выводы — опасны. Все колеблется, дрожит, — надо изображать, как оно колеблется, дрожит. Изображайте *не стремясь поучать от себя*¹. Пусть учат факты. „От неизвестных причин“ — тоже не дурной рассказец, но недостаточно ярко показана убивающая душу попадейки бытовая обстановочка, наше жестокое, темное, русское житышко².

Вы можете писать лучше, поверьте мне, я не ошибаюсь, можете! И вы будете писать лучше.

Всего доброго, А. С.!

А. Пеш(ков).

Последние слова звучат тоном пророчества. С такими предсказаниями Неверов мог смело пускаться в путь³.

¹ Подчеркнуто здесь и дальше в подлиннике.

² В рассказе изображается, как одна молоденькая попадья, не выдержав бессмысленно-пошлой жизни, покончила с собой. Рассказ был напечатан в „Жизни для всех“, 1915, № 4, апр., столб. 499-520.

³ До конца жизни А. С-вич сохранил благодарное чувство к А. М. Горькому, и всего за два с небольшим месяца до смерти он решил послать ему три своих книги (сборник рассказов „Лицо жизни“, повесть „Ташкент—город хлебный“ и том пьес). Отправить книги и письмо А. С-чу не удалось — на почте не приняли заказного отправления в Германию, а послать простым он побоялся. Письмо сохранилось у Пелагеи Андреевны. Привожу его текст, как очень любопытный образец суждения А. С-ча о самом себе почти на самом конце его жизненного пути:

„Многоуважаемый

Алексей Максимович!

Несколько лет тому назад (1915 г.) Вы были так добры ко мне своим вниманием в оценке моих произведений. Одновременно с этим письмом я посылаю Вам заказной бандеролью три книги своих сочинений и прошу принять их от меня, как выражение моей признательности к Вам. Я был бы очень благодарен, если бы Вы нашли время указать мне мои достижения и промахи. В Советской прессе книги получили хорошие отзывы, но должен сказать, что книгой рассказов „Лицо жизни“ я недоволен, ибо рассказы в ней подобраны не одинаковые по своей ценности. Есть даже, на мой взгляд, определенно слабые, но мне как-то нужно было собрать их воедино, чтобы через них увидеть *свое лицо*. Более ценной я считаю повесть „Ташкент—город хлебный“, не касаясь пьес, а в общем, я недоволен собой, и все мне кажется, что я еще ученик первого отделения, который должен перейти в третье.

Я уже перебрался из деревни и второй год живу в Москве. Пишу две крупных вещи: „Повесть о бабах“ и роман „Гуси-лебеди“ из жизни революционной деревни. Думаю ими что-то сказать, если осилю замыслы.

Привет Вам и низкий поклон.

17/X — 23.

А. Неверов.

Москва, Б. Полянка, 12. Александру Сергеевичу Неверову“.

Этот крайне скромный отзыв о себе и своих вещах очень характерен для А. С-ча.

Письма от Короленка и Горького были, хотя и светлыми, но все же мимолетными эпизодами в жизни Неверова. Он смотрел на своих знаменитых собратий по перу, разумеется, снизу вверх. Ему же хотелось иметь переписку с культурным человеком, близко стоящим к литературе, но с таким, на которого бы он мог смотреть, как на ровню.

Нет сомнения, что в годы своего учительства Неверов сильно страдал от духовного одиночества. Культурный уровень, интересы тех людей, с которыми он мог иметь общение в деревне, — крестьян, даже учителей, духовенства и т. п., — был ниже его запросов. Из всех товарищей разве один Ф. Е. Комаров (П. Яровой), в то время тоже начинающий писатель¹, мог быть ему ровней, но Ф. Е. Комаров сам был такой же провинциал, как и А. С-вич, которому хотелось все-таки чего-либо нового, свежего, хотелось прежде всего поучиться.

И вот мы видим любопытное явление: Неверов ищет переписки. Сначала он, по наивности, изливает свою душу в письмах в редакции (сохранились ли где эти письма?), потом заводит переписку с сотрудниками журналов. Одним из таких любимых адресатов А. С-ча был Иван Егорыч Лаврентьев (Иван Власов), сотрудничавший в „Жизни для всех“. Ему А. С-вич пишет целую исповедь со своею автобиографией (это письмо неоднократно выше цитировалось) и затем поддерживает с ним деятельную дружескую переписку. И. Е. Лаврентьев тоже был сельским учителем, но бывал и в столицах, чему А. С-вич дружески наивно завидовал. Чрезвычайно интересная переписка с И. Е. Лаврентьевым продолжалась несколько лет, до 1921 г. Осенью 1923 г. А. С. впервые встретился со своим заочным другом, приехавшим в Москву на выставку. Кажется, по словам П. А. Неверовой, они остались не особенно довольны друг другом. Из других корреспондентов Неверова надо упомянуть также сотрудника „Жизни для всех“ — В. Я. Муринова.

„С 1910 (г.), — пишет А. С-вич И. Е. Лаврентьеву, — начал работать в „Ж. д. в.“, завел переписку с В. Я. Муриновым, которому многим обязан. Он встретил меня весьма радушно и ободрил заверением, что во мне „что-то есть“².

¹ Писал тогда под псевдонимом „Петр Крестьянский“.

² См. ниже, в Добавлениях, стр. 195—197.

Были, вероятно, и другие корреспонденты¹. Писать А. С-вич любил и получать письма любил, создавая себе этим видимость общения с культурным миром. В глубине же души он все время мечтал вырваться из провинциальной глуши, бросить сильно уже надоевшее учительство, самому поучиться и заняться той работой, которая была ему более по сердцу. Но уехать Неверову по своей воле из деревни так и не удалось. Помогла лишь война.

Подошли мировые события, о приближении которых в Ставропольском уезде, в какой-нибудь Елани, едва ли кто и подозревал, и закрутили жизнь Неверова новым, неожиданным вихрем.

От войны он отделался сравнительно благополучно. Призванный по мобилизации в самом начале 1915 года, он был направлен в Самару, где получил назначение полковым писарем. Конечно, изображать из себя пушечное мясо А. С-вич не имел ни малейшей охоты, и поэтому, опасаясь отправки на фронт рядовым, он поступает в фельдшерскую школу. Кончив ее, он становится военным фельдшером и работает в одном из самарских госпиталей вплоть до революции, когда ему, в качестве учителя, удалось освободиться от военной службы.

Годы солдатчины нашли яркое отражение в ряде писем А. С-ча к И. Е. Лаврентьеву, которыми, с любезного разрешения П. А. Неверовой, я и пользуюсь.

„Ваше открытое письмо, посланное на Елань, — писал А. С-вич 20 янв. 1915 г., — я получил уже в Самаре. Предположения Ваши сбылись: я снова призван² в ряды ополчения и теперь нахожусь в 690 Самарской пешей дружине, в 4-ой роте. В строй пока не хожу, работаю в ротной канцелярии; что будет дальше — неизвестно“.

Попад в сравнительно привилегированное положение, Неверов, тем не менее, остро ощущал „прелести“ царской военной службы.

„Делов (!) в канцелярии, — писал он в том же письме, — сравнительно немного, но утомляет однообразие. Порядки строгие,

¹ Напр., Неверов не еписывался с В. А. Поссе, редактором „Жизни для всех“.

² А. С. призывался уже раньше, но временно был отпущен, как учитель.

военные. Стоять приходится на вытяжку, руки по швам, и не мигая. Просто не сумеешь привыкнуть к новому положению, а не исполнять того, что требуют, нельзя... Время свободное есть, но работать для себя не могу. Как будто бы, вместо меня кто-то другой стал...

В город почти что не хожу¹. А если и хожу когда по делам канцелярии, то по одним и тем же улицам. В казарме тоже однообразие. Что было вчера, то есть и сегодня: песни, гармонь, спанье на полу, старые прискучившие шутки и — ничего нового... Свежих впечатлений набраться неоткуда. Надоело все до смерти...

От этой скуки казармы Неверов несся мыслью невольно туда, к кровавым границам стран, к безумной бойне, в которую послушно шли, как бараны на убой, народы, подгоняемые своими капиталистическими правительствами.

„Куда попадет наша дружина, — писал Неверов (то же письмо), — ...пока неизвестно. Может быть, в бой, если не прекратится война, может быть, и на охрану куда...

Но когда мир? Не слышали Вы ничего? — наивно спрашивает он дальше. — Ведь это же ужасно! Изо дня в день в течение $\frac{1}{2}$ года одно и то же ожидание, один и тот же страх быть уничтоженным. Не видя войны, нельзя представить всего ужаса... Сегодня вот, например, нашей роте выдали ружья... И глядя на 300 человек, держащих на плечах ружья, жутко представить себя замешанным в эту толпу доведенных войной до отупения. Ведь сейчас, насколько я понял, никто серьезно не думает о том, что он способен будет стрелять и колоть. Сейчас все это предмет шуток, забавы и игривого настроения от междуделья, а ведь придется и иначе поступать“.

От ужасной необходимости „стрелять и колоть“, а, может быть, и самому быть застреленным или проколотым, судьба уберегла Неверова. Ему пришлось лишь изведать военные тыловые будни, которые неминуемо засасывали, опошляли, обезличивали, хотя Неверов всеми силами и пытался со всем этим бороться, порою изнывая от сознания бесплодности своих попыток.

„Постепенно, и сам того не замечая, — писал он 15 июня 1915 г., — входишь в какой-то станок, в особое „положение“, в котором трудно, да почти и невозможно остаться тем, кем был

¹ Часть, в которой служил Неверов, стояла под Самарой: см. выше адг на письме М. Горького, стр. 49.

допрежде, сохранить в себе некую индивидуальность... Что-то втягивает, всасывает тебя в общую массу, делает шаблоннее и грубее и заставляет жить тем, чем живут другие... Нужен постоянный контроль, постоянный присмотр за собой, чтобы уберечься от влияния среды, не раствориться в ней окончательно и не очутиться человеком под №“.

Литературной работой Неверов в это время занимался мало.

„Литературные дела мои подвигаются туго, — говорит он в том же письме. — Пишу мало. Да и не охота. О чем писать?... Все это кажется временным, преходящим и лишним погремком...“

Единственной отрадой для А. С-ча является переписка, да иногда возможность видиться с родными — он получал периодически кратковременные отпуска, в середине же лета к нему приехала жена. Этого приезда он ждал с нетерпением

„На-днях ко мне приедет жена, — писал он в том же письме, — будет жить здесь около меня на поселке. Это вот действительно радует меня. Радует, что снова возле тебя будет чуткий, близкий, родной человек, умеющий понять и успокоить...“

Впрочем, сетования, что „не охота“ и „не о чем“ писать — являлись лишь следствием мрачного настроения, столь естественного в обстановке казарменной жизни, но которое не было у Неверова неизменным. Временами он думает не о том, что ему „не о чем писать“, а о том, что некогда писать:

„Одно горе, — пишет он 2-го авг. 1915 г., — теперь некогда писать, т.-е. трудно — вернее сказать. Мешают. А писать хочется и сказать есть чего. В этом-то вот и главная причина моего дурного настроения. Хочешь пожить по-своему, а жить по-своему не дают...“

Как уже сообщалось, из писарей Неверов „спасся“ в... фельдшера. Об этом он не замедлил поставить в известность своего корреспондента.

„Спешу уведомить Вас, — сообщает он 14 сент. 1915 г., — что дорожка моя пошла в другую сторону. С 11-го сентября, я записался на подготовку фельдшерских учеников при Самарском военном лазарете, и теперь живу на новом месте. Поместили нас в казарме 143 пехотн. зап. баталиона (!). Помещение

не особенно важное. Стены исписаны „изречениями“ из военного устава. Спим на общих нарах; но я недавно сумел поставить койку и сплю теперь отдельно от других. Нас пока немного, но будет человек около 200 всего. Занятия еще не начались. Порядки строгие, казарменные, и по положению мы ничем не отличаемся от рядовых солдат. То же уничтожение личности, та же грубость со стороны надзирающих за нами. Преимущество только то, что нас будут учить не менее 6 месяцев и тем, может быть, спасут от возможности пойти туда¹, откуда не приходят живыми и здоровыми...”

Эта надежда несколько утешала Неверова, но все остальное мало его радовало, хотя он уже и обтерпелся как будто.

„Самочувствие мое не то, чтобы хорошее, — говорит он в том же письме, — но я уж как-будто привык, обтерпелся и не замечаю тех неудобств, этой приниженности, какими полна вся жизнь с первого дня поступления в ряды войск... Тяжело здесь... и обидно за человека... Он становится здесь, по выражению одного солдата из стариков, нулем без палочки...”

...Над литературой мне пока придется, видимо, поставить крест. Заниматься в теперешних условиях почти невозможно... Вечный шум и гам с утра и до полночи... Как тут сосредоточиться? А работать на-спех и кое-как я не могу. Начал я было рассказ для Ал. Мак. Пешкова², но он лежит под спудом и, вероятно, будет лежать еще долго. Уж поработаю, верно, потом, если жив буду...”

Новая обстановка — обстановка военного хирургического госпиталя, в которую попал Неверов, раскрыла перед ним новый мир — мир человеческих страданий, показала ему то, о чем он раньше мог только предполагать. Поистине замечательное письмо написал А. С-вич под свежими впечатлениями лазарета И. Е. Лаврентьеву 1-го октября 1915 г.

„Да, я попал в новый мир, — говорит он, — мир страдания, тоски и жалости... Если я говорю „жалости“, то не заключайте еще по этому, что здесь, в среде ухаживающих развито это чувство. Нет, здесь, прежде всего — служба, наскучившая и надоевшая, и холодная, бездушная практика с ножом в руках... Жалости мало, даже, пожалуй, совсем нет. Но она должна быть... Нельзя смотреть без жалости и без замирания сердца на эти обезумевшие лица больных, когда их режут и ковыряют на перевязках... Так бы, кажется, и обнял и поцеловал иного

¹ Подчеркнуто в подлиннике.

² М. Горького.

беднягу, а на него грубо кричат, даже толкают под бок, издеваются, не веря страданиям, велят окаменеть и не чувствовать... Сегодня, например, наблюдал, присутствуя при визитации, особо возмутительную картину. Шла перевязка. Больной — молодой парень. Горло у него оперировано. Две раны. Фельдшер „отдирает“ присохшую марлю. Больной стонет. Стали прочищать раны. Набили в них марли. Представьте-ка это удовольствие! Мажут иодом внутри ран, запуская помазок глубоко в рану. Больной стискивает зубы. Весь трясется. Наконец, не выдерживает и кричит. Присутствующий тут врач тоже кричит:

— Ну, чего ты орешь? Что? Режут что ли тебя? А? Что, вкусно? а? Вкусно, что ли, а? Что же ты молчишь? Ну? Говори, вкусно, что ли? Я тебя спрашиваю? Говори.

— Без этого нельзя, Ваше благородие! — сквозь слезы отвечает больной. — Трудно.

— А вкусно, что ли? — Никак нет... — Хэ... хэ... хэ...

Вот до какой степени можно унизить человека. Даже умирая, говори „никак нет“. И как пошло это само „никак нет“. А врач молодой еще, сравнительно, человек. Правда, в этой должности можно отупеть и привыкнуть к страданиям, нужно иметь дубовые нервы, и все-таки такой насмешки над человеком нельзя извинить.

И мне кажется, что все милосердие к низшему люду, о котором звонят во все газетные колокола газетные люди, описывающие с таким восхищением чуть ли не всех „лекарей“ — ложь. Есть добрые сердца, но не у всех. Здесь ведь тоже много с ранами, полученными на войне, раны на вылет и в грудь и в ноги, и все-таки их лечат только потому, что получают за это оклады и на их болезнях строят свою скучную мизерную карьеру...

А захворать — помилуй бог... Ни от кого не услышишь ласкового слова, и никто тебя не пожалеет..."

В этой суровой характеристике Неверов, может быть, и не был совсем прав по отношению к медицинскому персоналу, — но ему удалось верно подметить отношение привилегированной части царской армии и непривилегированной, а, кроме того, — и это самое важное, — у него начинали открываться на многое глаза.

„Во всем приходится помаленьку разочаровываться, — замечает он тут же, — как только соприкоснешься с действительностью... Жаль, что „уста“ связаны молчанием, а то бы многое можно было рассказать и во многом разочаровать тех, кто еще не разочарован..."

Слова в высокой степени замечательные и достаточно сами за себя говорящие.

Как ни неудобно было работать в той обстановке, в которой жил Неверов, но все-таки он время от времени обращается к литературным занятиям. В том же письме от 1-го окт. 1915 г. он, между прочим, сообщает:

„На-днях послал одну вещичку Алексею Максимовичу Пешкову¹. Начинаю работать. Нас из казармы перевели в другой барак. Жить стало удобнее. Да и во время дежурства в отделении работать хорошо по ночам. Тихо. Больные беспокоят редко. Закончил сегодня еще очерки „Среди ополченцев“ — продолжение очерков, напечатанных в январ. кн. „Ж. д. в.“².

В следующем письме, от 25-го ноября 1915 г., А. С-вич уже много внимания уделяет своей литературной работе — видимо, в этой области у него наступило известное оживление.

„Дела мои „медицинские“, — сообщает он, — идут своим чередом. Занимаюсь. Начались лекции, практические занятия и краткое изуч(ение) латинского языка. Делов (!) много. Если заняться серьезно, то и времени свободного не будет. Занимаюсь неровно³. Иногда прилежно, иногда кое-как. Отвлекает литератур(ная) работа. Нет-нет да и за нее засяду. Трудно, но на этот счет у меня большое терпенье. Для моего здоровья, вероятно, это не пройдет даром. Читали в „Новом Колосе“ мою статью „В IV классе“?⁴ Сегодня послал туда еще небольшую вещичку п(од) н(азванием) „Нам тужить нельзя“ ... На-днях послал в „Ж. д. в.“ небольшую работу „Дети“. Над крупными работами трудно работать. Мелкие лучше удаются...“

В письме, писанном в начале января 1916 г., А. С-вич также много говорит о своих литературных делах; между прочим, сообщает о ряде неудач: так, из „Нового Колоса“ очерк „Нам тужить нельзя“, как оказалось, —

„вернули обратно; пишут, что за неимением места фельетон не может загружаться очерками. Желательны рас(сказ)ы с фабулой. И в „Ж. д. в.“ маленькое несчастье. Давно еще у меня там приняли очерк „Последнее“ и уже напечатали было в декабрьской кн., но цензура уничтожила его целиком. И „Ежемесячный журнал“ молчит. Принято там 3 вещи, но до сих пор не печатают (!). Писал Миролюбов, что цензура не пропускает, а теперь совсем ничего не пишет и рукописи обратно не высы-

¹ М. Горькому. Ср. выше, стр. 55.

² Т.-е. „Жизни для всех“. Ср. прим. на стр. 49.

³ Такое ударение поставлено самим Неверовым.

⁴ Это не „статья“, а бытовой очерк.

лает, и мои руки связаны. Послал бы еще куда, неудобно... Вновь писать едва ли буду скоро-то. Пора бы и за медицину взяться..."

О своей предстоящей карьере — фельдшера А. С-вич отзывается несколько иронически (то же письмо):

„Да, чего не бывает на свете! Вот я и фельдшером буду. Думал ли я? Хоть немножко, а понимать начинаю. Все пригодится. Выгонят из учителей, ударюсь по больницам...“

Развертывающиеся военные события и кажущаяся их безысходность настраивали Неверова все на более и более пессимистический лад. Просветов он не видал, а мирозерцание его было еще затуманено идеализмом, и опоры себе он не умел найти. В этом смысле, в письмах к И. Е. Лаврентьеву есть весьма характерные строки, ярко оттеняющие тот путь, который удалось проделать Неверову в идеологическом смысле в последние годы.

Говоря об ужасах казармы, он пишет своему адресату 25-го ноября 1915 г., между прочим, следующее:

„Выступать против несправедливости открыто рискованно, мириться — совесть заест... Война, по всем признакам, протянется. Вот дожили... Где же силы небесные, и что они делают?“

Вот и культура... Хороши плоды этой культуры — нечего сказать... Говорят, что за этой грызней наступит обновление. Не верится... Царство божие не наступит, как там не (ни?) говорят. А до тех пор, пока не наступит царство божие, т.-е. когда человек не решится поднять руку на другого человека — до тех пор не может быть и обновления — не такого, конечно, которое выразится в лишней паре сапог и в лишней десятинае земли. В это еще можно поверить, но и то с трудом. Не ценится человек. В грош не ценится... А раз не ценится, раз отношение к нему, как к навозу, удобряющему чужие загоны, — что может выйти доброго? Слова... слова... слова...“

А. С-вич стоит еще, как видим, на точке зрения определенно идеалистической; он апеллирует даже к „силам небесным“. Причину человеческих несчастий он наивно видит в отсутствии „доброты“ у людей:

„Вот у Вас горе, а кто торопится помочь? Никто. На словах все ласковы, а на деле холодны. Погибли Вы, и никто

не протянет руки, чтобы спасти... Таков уж закон человеческих отношений. Всяк за себя и только за себя..." (Письмо от 2-го ноября 1916 г.).

Последующие события показали ему, сколь узка и необоснована такая точка зрения, и в чем надо искать причин человеческих бедствий...

По окончании курсов Неверов работал фельдшером вплоть до революции. От этого периода в моем распоряжении не было писем А. С-ча¹, а также и других сведений. Поэтому перехожу непосредственно к революционному периоду, остановившись лишь кратко на отражении военных впечатлений в произведениях Неверова.

В творчестве Неверова война отразилась несколькими рассказами на военные, точнее говоря, на „тыловые“ темы. Таковы бытовые наброски: „В казарме“, „Среди ополченцев“, „Среди умирающих“, „Кой о чем“, „Дома“, „В плену“ и некоторые другие.

Перед читателем проходят живые типы солдат, обреченных умирать, раненых, пленных. Неверов пытается схватить то новое, что внесла война в быт деревни, в частности, — в положение женщины, на которую война, кроме горя, наложила и новые обязанности, выполнявшиеся ранее мужчинами. Интересует его своеобразное столкновение русской деревни с западно-европейской культурой, проникающей к нам в виде... пленных австрийцев, которых мужики разбирают по домам в качестве работников и которые как-то быстро и своеобразно прижились в наших условиях, встречая особое сочувствие среди молодых баб (рассказ „В плену“).

Особенно правдиво и жутко передана обстановка лазарета („Среди умирающих“). Рассказ ведется от лица выздоравливающего:

„Я здоров.

А около меня умирает человек.

¹ За исключением только что цитированного письма от 2-го ноября 1916 г., где он, между прочим, жалуется на ничтожность литературного гонорара в „Жизни для всех“ (2 р. за столбец), и письма от 21-го дек. (того же года), в котором Неверов сообщает о приезде к нему жены и посылке своему адресату 20 р. взаймы.

Неподвижное тело с перевязанными ногами мешает мне радоваться. Ему тоже хочется жить, а он умирает, должен умереть за меня, за других, начинающих ходить без поддержки. Лежит все с той же покорностью на темном лице. Голова приподнята, руки сложены на груди под одеялом. Издали кажется—спит... Но он не спит. Он думает обо мне, мысленно бродит за мной. Грустно вздыхает, увидя меня...

— Какой вы счастливый!

Я начинаю уверять, что и он поправится, будет ходить по коридору, стоять у окна, спускаться по лестнице, уедет домой...

В глазах у него слезы.

— О чем вы? Зачем?

— Жить хочется.

Я хочу что-то сказать, в чем-то разуверить, а он повторяет с упреком:

— Жить хочется. Не встану я, чувствую. И жизнь, о которой вы рассказываете, — не моя жизнь, и хорошо будет вам, а не мне..."

А через несколько дней два служителя—

„возятся около соседа с перевязанными ногами, обертывают его простынею, кладут на носилки..."

В таких жутко-простых тонах, но все же несколько внешне, лишь с точки зрения стороннего наблюдателя, изобразил Неверов империалистическую бойню. Большого сказать, конечно, не позволила бы и цензура.

Более глубокое осмысление войны пришло позднее—с революцией.

Февральскую революцию Неверов принял восторженно и активно: он был даже избран в совет солдатских депутатов. Но вскоре ему удалось демобилизоваться, как бывшему учителю, и он спешит в деревню, в Елань, где жила его семья.

В деревне он также не остался равнодушным зрителем событий. Он принимает участие в собраниях и сходках, разъясняет события, пытаясь удержать крестьян от резких эксцессов. Ему доверяют, как „своему человеку“, избирают даже председателем волостного земства. К сожалению, Неверов не был тогда еще достаточно политически зрелым и, повидимому, всемерно стоял на точке зрения поддержки „временного правительства“. Но инстин-

ктивно, наблюдая то взбаломученное море, которое представляла из себя наша деревня летом 1917-го года, он чувствовал, что не все ладно, начинал понимать, на чьей стороне правда. И уже тогда он задумал свой замечательный роман „Гуси-лебеди“, и уже тогда стали закладываться в нем элементы коммунистического миросозерцания.

Вскоре, к 1918-му году, мы снова видим Неверова в Самаре. Здесь он довольно быстро входит в литературную работу, становясь заметной величиной среди самарских писателей. Участвует в кооперативном журнале „Народная Жизнь“, мечтает об издании ряда сборников особого типа, которые могли бы проникать в широкие слои крестьянства и т. д.

Эти мечты не осуществились, тем более, что Самара вскоре оказалась в полосе чехо-словацкой оккупации. Отрезанный от центра Советской власти, не вполне еще ориентирующийся в событиях, А. С-вич, будучи связан с работой в журнале, вынужден был даже отступить вместе с белыми в Уфу, но скоро перебирается вновь в Самару и становится на активную советскую работу.

Как уже было сказано, не понимая многого теоретически, он инстинктом исключительного художника-наблюдателя жизни, как бы сам того не сознавая, подходит все более и более к советскому миросозерцанию.

„Он был человек весьма сложной психики, — говорил мне о Неверове т. Яровой. — Он писал иногда, как бы не веря в то, что пишет, а выходило искренне. Он не любил политики, не понимал сначала коммунизма, а напишет рассказ так, что выходит вполне по-коммунистически“¹.

Неверов сразу, как-то чутьем, сумел отделить обывательски-мелочные проявления быта революционных лет от самого существа революционного сдвига. Он умел это сделать потому, что, происходя из трудового крестьянства, мог взглянуть на события глазами крестьянина-бедняка и даже рабочего-пролетария.

¹ В воспоминаниях о Неверове П. Яровой приводит его слова по этому поводу: „Иногда я не понимаю себя. Говорю, как обыватель, попадаю впросак, как настоящий профан... А вот начну писать, то удивляюсь самому себе, пишу так, как будто о чужом, а вот чувствую мое... настоящее мое... И в детстве хотелось что-то этакое сказать. Странно!“ (Сборник „Неверову“, стр. 27).

За какие-нибудь 1½ года Неверов сделал огромный шаг вперед в своем мирозерцании. В 1918 г. в уфимской газете „Народ“ (эс-эровской) Неверов помещает два рассказа: „На вокзале“ и „В коридоре под лампочкой“. По ним еще совершенно не видно, что автор понимает смысл великих событий. Неверов потрясен лишь совершающимися на его глазах ужасами — он видит голод, гражданскую войну, выбитое из колеи мирное население. Он бесподобно передает трагический образ матери-беженки с голодным ребенком на руках: ребенок спрашивает — „где папочка“, а папочка... расстрелян. Но почему все это совершается и во имя чего, — автор еще не понимает.

Попав на советскую территорию, Неверов пытается разобраться в событиях, но не сразу умеет понять, где правда. Характерен его очерк „Крест на горе“¹: автор едет мимо разоренных деревень, мимо свежих могил и крестов на буграх; его возница, перепуганный войной и сменяющимися „властями“ мужичок, сначала принимает седока за „комиссара“; потом, осмелев, рассказывает, как его недавно избили. Неверов еще не знает, где правда, на стороне красных или белых, и пытается „объективно“ изображать виденное, наивно заявляя: „я не судья“...

А в 1919 году Неверов (не говоря уже о том, что он становится активнейшим культурным советским работником) пишет одно из замечательных своих произведений — лирический рассказ „Я хочу жить“ (по настроению явно автобиографический), свидетельствующий о том, что автор его всецело понял причины, смысл и цели борьбы за диктатуру пролетариата.

Рассказ написан в форме монолога добровольца-красноармейца, который пошел сражаться, пошел умирать, так как слишком любил жизнь.

„Я иду умирать, — говорит он, — не от скуки и старости, не оттого, что надоела мне жизнь. Нет. Я очень хочу жить!... Любовно обнимаю каждое облачко; каждый кустик, и все-таки — иду умирать... Я иду умирать оттого, что хочу жить“...

Перед нами — человек, прошедший суровую школу жизни, на себе испытывший всю тяжесть социального гнета, человек

¹ Рассказ этот до сих пор не напечатан. Из „Собр. Соч.“ ред. коллегия „Земли и Фабрики“ также его исключила, несмотря на его огромную важность в качестве одного из характерных этапов развития творчества Неверова и на его несомненные художественные достоинства.

с пролетарскими или, во всяком случае, батрацкими на-строениями:

„...Когда (я) родился, светлые, просторные комнаты были заняты другими, „счастливыми“. Нам с матерью достался сырой подвальный угол. Мать была прачка... Отца совсем не видал. Кто он? Может быть, подвальный сапожник...

Мать пила.

В угол к ней приходили солдаты, крючники, ломовые извозчики в разорванных рубахах, бродяги, карманники. Иногда били, как бьют обессиленную лошадь, напайвали до потери сознания, тупо, бессмысленно валили на кровать, не стесняясь меня...

Мы были „несчастные“. Мать так и говорила мне:

— „Несчастные“ мы с тобой, Васька. Умри, сынок!..

Но я не умер. Я пошел по людям. Не было ни любви, ни ласки, ни теплого взгляда. Рос по-щенячьи. Ударят—поплачу, погладят—улыбнусь... Не знал, почему мы — несчастные, а другие — счастливые...“

Потом понял, почему — жизнь научала многому.

„Стало ясно: мы с матерью не зря посажены в подвальный угол и не волей отдельного человека, а волей тех, кто занял сверху над нами светлые просторные комнаты. *Волей целого класса, ради которого сотни тысяч, миллионы других людей должны по-звериному пачкаться в слякоти темных подвальных углов...* ¹

Понял и мать, которую били по зубам, и ту роковую причину, которая заставляла ее ложиться с „друзьями“ при мне. В трезвых глазах я замечал такую скорбь, такую хорошую материнскую улыбку, что сердце мое наливалось любовью и жалостью. Но оттого, что она была молодой и красивой, нищета и бесправье повели ее на улицу под негреющий свет фонарей.

Многое понял.

А самое главное понял,—вот: живу я в этом мире, богатом красотой и роскошью, как наемник, как здоровый услужливый пес, подбирающий крошки... Начал работать с семи лет, работаю ежедневно, и все-таки я—нищий, помойный отброс. Жизнь моя устроена так скверно и обидно, что если у меня ослабнут руки, не выдержит грудь, меня за негодностью выбросят, как сор из избы... Я, вырабатывающий ценности, совершенно не имею никакой ценности, как человек, и те хозяева, которые распоряжаются моими рабочими мускулами, опозорят и меня, прикованного к постели, и детей моих, выгнанных на городскую бездушную улицу“.

В этих мыслях он и черпает себе силы для борьбы, для того, чтобы идти на смерть.

¹) Курсив здесь и на следующей странице мой. Н. Ф.

„При одной мысли, что дочь моя, вместо светлой улыбки, скривит, перекусит тонкие побледневшие губы и, совестливо потупив глаза, неверными шагами выйдет вечером под негреющий свет фонарей, — при одной мысли об этом — сердце мое рвется на части...“

У меня уже прострелена одна рука, но это — не последняя жертва. Или придется совсем лечь на талых просыхающих полях, или вернуться домой победителем... *Другого пути нет...* А я хочу жить. Хочу, чтобы жили и радовались Сережка с Ньюской, жил и радовался весь наш квартал, выгнанный „верхними“ людьми на помойки...

И оттого, что я хочу жить, *оттого, что нет иного пути сделать это проще и легче* — любовь моя к жизни ведет меня в бой...“¹

Рассказ — явно символичен. Чтобы понять его значение, надо помножить героя на миллионы, потому что от их лица, от всего пролетарского и бедняцкого „квартала“ говорит он, идущий на борьбу с живущими в „верхних этажах“. Написать такой рассказ мог только человек, сознательно и безоговорочно вставший в ряды борющегося пролетариата и усвоивший его идеологию².

Для Неверова это особенно характерно, тем более, что условия его жизни в Самаре были очень тяжелыми. В 1919 г. к нему переехала семья. Жить пришлось у его мачехи, у которой была своя семья, так что в одной комнате помещалось 8 человек. Целые дни А. С-вич бегал по городу, утром занятый на службе, вечером участвуя в литературных вечерах, спектаклях и т. п. Он работал в „Роста“, в „Доме Печати“, в „Лито“, сотрудничал в газете „Коммуна“, в журналах „Красная Армия“, „Красный Паровоз“, сам предпринимал издание литературных сборников (например „Театр Красноармейца“, „Волжские Утесы“, совместно с П. Н. Дороховым); организовал и редактировал журнал „Понизовье“³, — и все это — при страшно тяжелых материальных

¹ Ср. еще аналогичный по настроению рассказ „Красноармеец Терехин“.

² Для характеристики происшедшего в идеологии Неверова сдвига любопытно еще сравнить две его сказки 1918 г. Одна из них (напеч. в самарской газете „Коммуна“, под заглавием „Сказка“) отзывается еще толстовским духом, другая („О трех сыновьях“, напеч. в журн. „Красный Паровоз“) уже четко ставит вопрос о классовой борьбе.

³ Неверов помещал в этих и др. изданиях рассказы, статьи, заметки, рецензии, стихотворения и пр., как под своим обычным псевдонимом, так и под рядом других, напр.: Аско, А. Новиковский, А. Насмешник и др.

условиях существования в связи с общим тогдашним положением, которое еще отягчалось голодом 1921 года. К тому же жил Неверов на далекой окраине, так что ему каждый день приходилось проходить пешком по несколько верст¹.

Писать Неверов мог только по ночам, когда все засыпало. И в самой невероятной обстановке, едва примостившись (где-нибудь на краю стола, иногда даже, — при отсутствии керосина, — лампадкой, он работал с чрезвычайной интенсивностью: писал свой роман „Гуси-лебеди“, ряд пьес („Бабы“, „Захарова смерть“, „Гражданская война“, „Смех и горе“, „Голод“ и др.), рассказов, фельетонов и статей. Кроме крупных вещей, писал много мелочи — рецензии, заметки репортерского характера, басни, стиховорения и т. д.

Вся эта напряженнейшая работа не давала ему даже минимального обеспечения. Приходилось выступать на вечерах с чтением своих произведений, читать лекции, ставить пьесы,

¹ В начале 1920 г. (11-го янв.) Неверов так писал об этом периоде жизни [Е. Лаврентьеву, с которым после некоторого перерыва возобновил переписку: Дорогой Иван Егорыч!.. Я пока жив и здоров. С учительством я покончил. Теперь всей семьей живу в Самаре... Я, как служащий, подлежал 50% мобилизации служащих и рабочих Самары и должен был призываться. В то время

Самаре политическим отделом Самарского Губернского Военного Комиссариата издавался журнал „Красная Армия“. В первый № этого журнала я дал рассказ „Красноармеец Терехин“. А потом заявил редакции, что я мобилизуюсь и работать мне вряд ли придется. Редакция возбудила ходатайство, и меня оставили при комиссариате, как литературного работника. Теперь же журнал прекратил свое существование за отсутствием бумаги и вследствие предписания из центра, но я состою при комиссариате в качестве заведующего литературно-издательским отделом и выпускаю воззвания. Минувший 1919 год в смысле литературной работы был у меня очень богатый. Я поместил несколько рассказов в самарских журналах: „Красная Армия“, „Красный Паровоз“, „Вестник Комиссариата“ и „Народная Жизнь“ (издание кооперативов). За два рассказа в Москве на конкурсах получил премии. Рассказ „По-новому“ на конкурсе журнала „Красноармеец“ — 3-я премия и рассказ „Случай из жизни Саньки маляра“ на конкурсе стенной газеты „Агит-Роста“ — 3-я премия. Все почему-то третьи. До первых еще не доработался. В настоящее время потею над большой повестью „Гуси-лебеди“ из жизни современной революционной деревни. Но дело, по совести сказать, подвигается плохо. Причина: живу в плохонькой, крошечной избенке на окраине города, куда меня загнал с семьей дровяной голод. Отсутствие керосина и иного прочего удобства. В остальном живу сносно. Не голодаю. Из деревни убежал, боясь оторванности и заброшенности в столь трудное время. То, что попал в город, не раскаиваюсь. Может быть, в деревне посытнее, но зато здесь движения побольше, и мысль работает поживее“...

участвуя в них в качестве артиста — и получать за это ничтожный гонорар, иногда на 2—3 фунта хлеба. Единственное, что поддерживало Неверова — это увлечение самой работой. Пусть за выступление в какой-нибудь красноармейской части или в рабочем клубе Неверов получал гроши, но он совершал живое дело культурного воздействия на массы, и это не могло ему не давать большого удовлетворения.

В сохранившихся письмах Неверова той поры живо чувствуются все пережитые им тревожения, ярко выступает его кипучая, полная изумительной энергии натура. С любезного разрешения П. А. Неверовой, мне удалось ознакомиться со связкой писем А. С-ча к писателю — А. К. Гольдебаеву¹.

Уже внешний вид этих писем говорит многое. Они писаны на клочках разных форматов, на вырванных из больших и маленьких тетрадей листочках, на целых полулистах писчей бумаги и т. д., расплывчатыми водянистыми чернилами, иногда карандашом. Но что значит внешняя форма, когда под ней чувствуется живое сердце и неугомонная мысль, не сдающаяся ни при каких внешних условиях жизни! Цитатами из этих писем мы лучше всего расскажем о Неверове в Самаре.

Читая письма А. С-ча к „деду Гольдебаеву“, прежде всего поражаешься исключительной его заботливостью, с которой он относился к старику: он хлопочет об его вещах, пересылает и устраивает в печать его рукописи, получает за него жалованье,

¹ Гольдебаев (Семенов) Александр Кондратьевич (1863—1924), — старик-писатель, самарец по происхождению, родом из крестьян. В начале 90-х г.г. примкнул к революционному движению; с 1903 г. состоял в партии с. д. (больше-виков). Не раз его арестовывали и высылали. Писал в газетах и журналах, в том числе в „Русском Богатстве“ и „Современном Мире“. В 1910 г. две его повести „В степи“ и „Мама ушла“ были изданы отдельным томом в изд-ве „Знание“. Был хорошо знаком с В. Г. Короленком и М. Горьким, а также с другими писателями. В революцию жил в Самаре и Пугачовске (быв. Николаевске); весной 1921 г. переехал в Москву. В Самаре редактировал „Жел.-дор. Вестник“, в качестве редактора которого и познакомился с Неверовым. В голод был представителем РСФСР при АРА, потом разъездным сотрудником „Крестьянской Газеты“; в одну из псевдов он умер — 10 марта 1924 г. Как писатель, Гольдебаев был представителем старых течений, и при всем желании никак не мог приспособиться к новым запросам: он писал бесконечные повести и романы, которых никто не хотел печатать. А. С. Неверов относился к Гольдебаеву с самой нежной привязанностью. Биографические сведения об А. К. Гольдебаеве были сообщены мне его дочерью, М. А. Семеновой, которой приношу свою благодарность.

заботится о его денежных делах, пытается продать его фотографический аппарат, вносит арендную плату за огород, без конца бегают по делам „деда“ по разным учреждениям, устраивает подписку в его пользу, посылает ему вещи и продукты. Невольно изумляешься этой самоотверженной заботливости, граничащей с какою-то влюбленностью в „серебряные седины деда“.

„Сообщал я Вам, — пишет, напр., А. С-вич 24 янв. 1921 г., — что Ваш рассказ „Корова моя“ я пристроил в Самаре в один сборник и послал еще в Харьков. Вам известно сие? Ну, а пока до свиданья, славный, хороший дед. Соскучился об Вас — во-как! ¹ Бывало посидишь около Вас, посмотришь на Вашу ясность душевную — и душе станет так хорошо, хорошо... а теперь и зайти некуда. А я уж очень привязчивый. Полюблю кого, тоскую, как девушка. А вас, грешник, полюбил еще тогда, когда узнал чуть-чуть. „Борода“ Ваша увлекла меня. Ну, бывайте здоровы. Бодритесь, храбритесь до весны, весной — в Москву, слушать московский звон во всех смыслах ¹... Ваш внучек А. Неверов“.

Постоянно заботясь о материальных делах Гольдебаева, Неверов готов даже уступить ему свой гонорар:

„Дедок, я решил вот что, — пишет он 17-го декабря 1921 г. — Если „Беднота“ напечатает мой рассказ про дьякона ², то получите за него гонорар, бегите на базар, окиньте его опытным глазом и остановите свое внимание на том самом примусе, который можно купить на гонорар за рассказ про дьякона... Согласны? Бьем по рукам. В рассказе строк около 250—300. Если заплатят рублей по 1.000 за строку — неужто на эти деньги нельзя купить примус? Если нельзя, то я напишу еще рассказ про дьяконицу, а примус все-таки должен быть...“

А в конце письма приписка (датирована 20/хп 21 г.):

„Дедок! Я уже написал и доверенность на получение гонорара, но почему пока не посылаю? Стыдно! Хвалилась синица море зажечь. А вдруг да рассказ-то в корзинку поместят? Как только узнаете, что рассказ выйдет или уже вышел — немедленно пишите. Гонорар за дьякона все равно ваш, и я ему не хозяин.“

¹ Ударение поставлено Неверовым.

² Рассказ „Как рассердился дьякон Иорданов и что из этого вышло“ был напечатан не в „Бедноте“, а в самарской „Коммуне“, под заглавием „Что из этого вышло“; этот рассказ вошел в сборн. „Лицо жизни“.

Это имейте ввиду. Прижмет вас нужда, а вы ей в морду и ткните: — Врешь, чертовка, у меня еще есть гонорар и т. д.“¹.

Не получая долго писем от „деда“, Неверов сильно начинает беспокоиться. Так, 16-го января 1922 г. он пишет на четвертушке бумаги, вырванной из тетради в редкую линейку:

„Дед!

Живы ли Вы? Что с Вами случилось? Сколько писал писем—ответа нет. Киньте весточку немедленно. Много писать некогда“.

И тут же:

„Посылаю Вам и маленькую посылку: рубашку и кой-что из съестного. Немедленно пишите...“

19-го марта вновь посылка:

„Посылаю Вам небольшой гостинец—немного круп. Чем богат, тем и рад... Вот горе! Письмо стоит 7½ тысяч простое. Не это ли мешает Вам перекинуться со внуком лишний раз? Сознайтесь чистосердечно“.

И в начале письма приписка: „На марки 100.000“.

Иногда Неверов просит кое-что сделать для себя, чаще всего — помочь ему перебраться в Москву, но просит очень осторожно, как бы опасаясь обеспокоить деда:

„Пока у вас есть силы, хлопчите там за меня, чтобы устроить меня сносно,—просит Неверов в письме от 10 мая 1921 года,—а когда я устроюсь мало-мало и у Вас не будет силы, я буду с любовью беречь Вашу седину, тогда Вы можете жить около меня и никогда не почувствуете, что вы одинокий, никому ненужный „старый чорт“. Верьте, дед, сердце говорит...“

В другой раз (письмо от 19 ноября 1921 г.) он просит „деда“ справиться о судьбе его изданий:

„Милый дедок! Если пойдете мимо ТЕО (Неглинная, 9), зайдите. Отыщите там Мейерхольда или Полякова или Ефроса²

¹ См. Добавления, стр. 197—198.

² Мейерхольд, В. Э. — известный артист и режиссер; в то время был заведующим Театральным Отделом (ТЕО) Наркомпроса; Поляков, А. С., писатель и критик, и Эфрос, Н. Е. (ныне умерший), писатель по вопросам театра,—оба тогда служили в ТЕО.

или кого-нибудь и узнайте, что стало с моими премированными пьесами „Захарова смерть“ и „Гражданская война“. Осенью 20 г. Мейерхольд увез их в Петроград печатать, и с тех пор о них ни слуху, ни духу. Справлялся как-то Яровой, ему сказали, что они пропали (!). Это мне удар. Справьтесь еще Вы. При свидании зацелую Вас за это до смерти“.

Но, узнав вскоре, что Гольдебаев болен, Неверов перепугался, как бы его не обеспокоили просьбы и поручения:

„О моих поручениях—забудьте. Ну их, к лешему. Никуда не ходите и никого не просите“ — спешит он скорее поправить дело (письмо от 30 января 1922 г.).

Но зато с большою настойчивостью Неверов просит за других, когда полагает, что „дед“ в Москве может что-то сделать. Едет, напр., в Москву П. Яровой, и Неверов спешит скорее замолвить слово за него:

„Едет вместо меня т. Яровой. На-днях выедет. Пусть Ваша любовь ко мне прольется на него. Он в Самаре голодует (!) решительно и решил: чем голодать в Самаре, лучше голодать в Москве... А вы, дед, не споконьте его. Помогите на первых порах. Человек он души великолепной, только на свой образец. И вот уж потом, когда вы, два самарца, пустите корень в Москве, схватите карьеру за загривок, тогда и я к вам перенесусь уже не мысленно, а в виде реального факта. А если вас карьера схватит за загривок, тогда вы неситесь ко мне в виде реального факта“ (5 июня 1921 г.).

Арестовывают одного из самарских литераторов — Неверов сейчас же за помощью к „деду“:

„Н сидит в арестном доме вот уже с месяц. И сколько еще просидит — неизвестно. Может быть, переведут в тюрьму. Жалуется, что слабеет физически. Мать его писала сестре Ленина что-то, просит на поруки. Нужно иметь двоих коммунистов ответственных. Посажён он, надо полагать, в связи с кронштадтскими событиями, как правый эс-эр. Предъявлено обвинение в противосоветской агитации. Но он, я думаю, не причастен к этому. Вообще он отошел от политики и сидел за крупной литер(атурной) работой... Милый дед! Помогите, чем можете, из Москвы. Постучитесь в двери тех, кто сможет облегчить участь литератора. Мы здесь бессильны что-либо сделать. А за это я еще крепче буду любить Вас“. (Письмо 21 мая 1921 г.).

Подобных просьб в письмах Неверова чрезвычайно много, и все эти заботы тем более трогательны, что сам-то Неверов

находился в очень бедственном положении и работать ему приходилось в условиях самых ужасных. Но на условия жизни он сетует сравнительно редко. Кое-где лишь попадаются такие строки:

„Дорогой Александр Кондратьевич! Получил Ваших три письма. Последнее получил сегодня утром, но прочесть не пришлось его днем, читаю только вот теперь, в 1 ч. ночи... Прежде всего жив и здоров. Семья—тоже. Младшего сына схоронили. Живем попрежнему в поселке у мачехи...“ (Письмо от 13 декабря 1920 г.). „...Пока кончаю на сей раз. Лампа горит скверно, режет глаза. Хочется спать. Время (!) уже, вероятно, 3 часа“ ... (Там же).

Или:

„Живу потихоньку-полегоньку. Голодную (!). Денег нет, хлеба нет. Сажу в конуре. Надоело. Мать—человек тяжелый. Грязь, вонь, теснота, далеко от города. Недавно захворал, провалялся два дня...“ (Письмо от 24 января 1921 г.). „...Иной раз еле дотащусь и падаю на кровать, ведь живу-то где...“ (Письмо от 19 февраля 1921 г.). „...Лично у меня наступила голодовка. Дня четыре сидели на сухарях и думали, что делать?“ (Письмо от конца апреля 1921).

Обычно же Неверов как бы не обращает внимания на эту „прозу“ жизни, разве уж что-нибудь слишком его дойдет; тогда он не выдержит и начинает жаловаться:

„Дорогой дед! Не ругайте внука, что он редко пишет Вам письма. Бегает внук, как молодой олень, в поисках за хлебом и по другим тому подобным приятным делам. Факты? Вот вам факты. Вчера, например, в субботу, пробыл весь день на Барбашиней поляне, где нужно было получить продукты за чтение лекций у курсантов. Получил 14 ф. хлеба, 3 ф. пшена, три фун. рыбы, 75 зол. сахару и имел удовольствие превратиться в верблюда, навьюченного корзинкой и мешком и тащить все это с Барбашиней поляны до трамвайного тупика в ужасную жару... Глотал пыль, обливался потом, торопился—не опоздать бы на трамвай, ибо время (!) было около 9 ч. вечера, а тут еще вывернулась ручка у корзины, захотелось пить, напился сдуру-то воды из колодца, выпил стакан „лимонада“ за 200 р., и теперь вот чувствую расстройство желудка“¹. (Письмо от 5 июня 1921 г.).

¹ Поистине нельзя не удивляться изумительной нашей российской некультурности и поразительному неумению ценить умственных работников. Как будто упра-

Гораздо чаще встречаем в письмах Неверова жалобы на местных деятелей-бюрократов, своим казенным формализмом отравлявших его существование. Сетованиями этого рода письма А. С-ча буквально пестрят чуть ли не на каждой странице, причем Неверов иногда употребляет выражения довольно энергичные. Вот ряд примеров:

„Захарову смерть“ прислать не могу, так как последний экземпляр киснет у Немирова в Наробразе. Подлецы! Тошно мне, знаете, возиться с этими мордами“... (Письмо от 22 декабря 1920 г.).

„Относительно „Баб“. Вы требуйте с них авторские, когда пьеса пойдет в театрах города (Пугачовска. Н. Ф.). Узнайте, кто агент. Ужасно свинская публика в этих „образах“. Ну, да чорт с ними! Где наша не(!)пропадала“... (Письмо от 24 января 1921 г.).

„В Роста у нас атмосфера создалась тяжолая, отношения с завед(ующим) натянутые. Росту и Госиздат он перевел на военное положение, издает приказы, считает всех бездельниками, завелся шпионаж. Вообще тяжело. Только по одному этому хочется уехать в Москву“... (Письмо то же).

„... Был в Профобре. Мухина не застал и застать вообще трудно. Нужно дежурить целый день (!)¹. Сидят там порядочные свиньи. Прошел через десять столов и мысленно начал ругаться... Просидел я в несчастном Профобре более часу в ожидании Мухина² и ушел на первый раз ни с чем. Схожу еще раз“... (Письмо от 19 февр. 1921 г.).

„Вовочка³ наш — невообразимый человек. У него буквально 7 пятниц на дню. На его вызов⁴ не отвечайте. Так парень дурит от малого ума. А как он над нами мудрит — ужас! Приказы пишет, и человек, подчиненный ему, расклеивает их на видном месте. Приказы строгие, внушительные, с применением администрат(ивного) наказания, и все-таки, несмотря на это, Роста падает все ниже и ниже, работа его сводится к нулю“... (Письмо от 16 марта 1921 г.).

вление курсов не могло выдать писателю-лектору паек каким-нибудь другим способом, не заставляя его дежурить целый день? как будто его слушатели курсанты, которым он читал лекции, не могли сами ему принести эти несчастные 14 ф. хлеба, 3 ф. пшена и 3 ф. рыбы?!

¹ О том, что надо установить приемные часы, самарские „совбюры“, видимо не догадывались!

² Ср. рассказ „Портфель“, где „герой“ носит ту же фамилию. Так „отомстил“ Неверов этому самарскому т. Мухину из „Профобра“. См. стр. 166.

³ Так именуется заведывавший тогда отделением Роста в Самаре.

⁴ Повидимому, заведующий Самарским отд. Роста прислал Гольдебаеву приказ явиться в Самару.

„...Работать в Самаре невозможно. Второй № „Понизовья“ так и запис. Да и охоты нет работать с такими остолопами“...
(Письмо от 10 мая 1921 г.)¹.

Как это ни странно, но со стороны местных деятелей Неверов встречал к себе, вместо благодарности и уважения за неустанную полезную культураную, недоверчивое и подозрительное отношение, что иногда совершенно лишало его энергии.

На совет Гольдебаева переехать в Пугачовск, он отвечает, напр.:

„Не угодно ли вам, т. Неверов, заделаться „Пугач Роста“, „Госиздатом“ и тому подобными прелестями, которых совершенно не принимает душа моя? Если хотите знать, отшельником мне хочется сделаться, уйти от людей, от службы, от всего, что берет силы и ничего не дает взамен. Ведь только подумайте, дорогой мой друг. Мне ли, с моим куриным характером, ведать такими делами, как Роста и Госиздат, да в теперешних условиях? Меня затрут, затопчут по одному только тому, что я не имею на лбу у себя партийной марки. А без этой марки работать в Пугачовске, надеясь на одну только честность—что из этого получится?“
(Письмо от 24 января 1921 г.).

Не удивительно, что иногда у А. С-ча вырывался такой стон:

„Дед!
Я устал. Бороться за желудок устал. Что только делают с нашим братом-писателем? Все подлецы живут, а русская литература вымирает. Это не слова, дед, ей-богу—накипело. Минутами я готов задохнуться от ненависти к чиновникам, этим червям, объедающим Советское древо. Так они опротивели мне, так много сделали зла в последние дни, что рассказывать—длинная история“. (Письмо от 10 мая 1921 г.)

¹ В таком же духе писал Неверов и И. Е. Лаврентьеву: „Вышел у нас в Самаре с грехом пополам № журнала „Понизовье“. На днях вышлю Вам. 2-ой № собран, но нет разрешения Госиздата на печатание. Вообще, скверно работать с провинциальными тупицами...“ (Письмо от 1 мая 1921 г.). „А люди все еще как люди: к чему ни прикоснутся, обязательно обгадят.. и из высокой идеи делают спекуляцию. На „местах“ так много зла, жестокостей бессмысленных, личных счетов, личных усмотрений, полицейских замашек, что невольно стоишь в раздумьи...“ (Письмо от 9 апреля 1920 г.).

Под влиянием этих пессимистических настроений Неверов в одном из своих писем набрасывает следующие, поистине замечательные, мысли о писателе и писательском пути:

„... Поставим вопрос математически, — говорит он. — Сколько я потеряю, если останусь на лето в Самаре? Погоня за славой, за успехами? За возможностью строить карьеру? Да ну их к чорту! Я начинаю все больше и больше убеждаться, что все эти три предмета — прах и суета сует. Да и не карьерист я! Ничего я не создам в смысле карьеры. Душа не выдержит бегать, извиваться. Теперешняя карьера, ведь это ужас: паек, квартира, казенный стол, казенные сапоги и возможность просунуть свои произведения в первую очередь? Да будь все это проклято! Это могила для писателя¹, это гроб, куда он кладет себя и с ручками и с ножками. Противна мне в писателе такая „деловитость“ — в том писателе, которого я вижу в последнем из могижан старике Гольдебаеве. Писатель должен быть выше обывательского ранжира. Пусть в этом его трагедия, но если у него нет трагедии, он и не писатель. Все теперешние дельцы, сутяжники, каверзники, клеветники, завистники, это — накипь, чертополох. Придет настоящий писатель и покроет их, выдернет из литературы и выбросит на дорогу. Лежит убо секира при древе. Не может Россия быть без писателя, Россия, идущая на Голгофу², Россия, истекающая кровью. Теперешний писатель ищет пайка и новых форм, но не ищет чувства, не рвет себе сердце. А без этого... Я не знаю... Может быть, и без этого можно быть писателем. Бывает всякое на свете“. (Письмо от 5 июня 1921 г.).

О высоком долге писателя Неверов писал и И. Е. Лаврентьеву:

„Очень рад Вашему письму, Иван Егорович, — читаем в письме от 9-го апреля 1920 г. — Словно холодной воды хлебнул в жаркий полдень. Значит, мы еще с Вами живем и поживем. Вы только не падайте духом и не записывайте себя в „старцы“. Помните, что Вы — писатель; а раз так, то Вы должны и страдать больше других, болезненно чувствуя и воспринимая окружающее не так, как чувствуют и воспринимают его „хорошие, милые“ обыватели. Я так понимаю. И упаси Вас боже забросить литературу именно теперь. Это будет большой грех на Вашей совести. Даже больше. Вы не имеете права не писать... Если Вы разрываетесь на десять частей в работе инструктора, то я, во имя нашей

¹ Подчеркнуто здесь и дальше Неверовым.

² Имеется в виду надвигающийся голод.

дружбы, требую¹, чтобы Вы хотя $\frac{1}{10}$ отдали литературе. Вы, искренний, честный бытописатель, должны показать и светлое и черное современной деревни в тяжелое переходное время. Вы должны приготовить такой дневник крестьянина, чтобы будущее десятилетие имело документ не ложный, не сочиненный из окна поезда выскочившим из столицы журналистом... Это Ваш долг. В Вашем распоряжении, как Вы пишете, 10 волосей. Это что значит? Перед Вами тысячи лиц, не прикрашенных, не изуродованных пером „бойкого“ человека... Если Вы смотрите серьезно на работу инструктора, то взгляните, ради бога, посерьезнее на себя, как на литератора. Иван Егорович! Мне хочется пробрать Вас... Да разве Вы имеете право говорить, что Вам некогда писать? Другое дело, если Вы не хотите писать... Но ведь работаете же Вы без отдыха... Нет, милый Иван Егорович, Ваше слово нужно... Вы должны писать на клочках, на обрывках, клочками, обрывками... После будете жалеть... Поверьте. Многие расстечется, уплывет из памяти бесследно. Если нужен теперь инструктор, то в равной мере нужен и честный, искренний писатель, а Вы и есть таковой. Что же Вы думаете? Век, что ли, мы будем сидеть без бумаги? Ну, может быть, еще годик, а там пойдут типографии, развернется печатное слово — с чем Вы придете в редакцию? С газетной корреспонденцией? Это Вы-то! Я жду от Вас не этого”...

Надежды А. С-ча на И. Е. Лаврентьева не оправдались: никакого „дневника крестьянина“ он, повидимому, не написал. Но зато как характерны эти строки для самого Неверова, который сумел „показать и светлое и черное современной деревни“, сумел дать „документ неложный, не сочиненный из окна поезда“, который смотрел на свое писательство, как на великий долг.

И только поэтому, живя среди удушающей атмосферы провинциального советского бюрократизма, Неверов все же не потерялся. Творчество, живое дело снова его спасло, как когда-то в годы учительской лямки.

Большую помощь и нравственную поддержку оказали Неверову еще и товарищи-писатели (не того, разумеется, типа, о которых он говорил с такой горечью в приведенной выше цитате и которых обвинял в излишнем пристрастии к „пайку, казенному столу, казенным сапогам“ и в отсутствии у них „трагедии“).

Надо иметь в виду, что Самара, с первых же лет утверждения в ней Советской власти, была одним из наиболее культурных провинциальных центров; Самарский пролеткульт, напр.,

¹ Подчеркнуто здесь и ниже Неверовым.

столь интенсивно и продуктивно работал, что обращал на себя внимание москвичей¹.

Причины этому надо видеть отчасти в том, что и до революции Самара всегда была достаточно культурным городом, имела солидную прогрессивную газету; еще в 1916 г. существовало там „Самарское общество любителей искусств и литературы“ во главе с поэтом Я. М. Тисленком и пр., — отчасти потому, что в связи с голодом в Самару собралось много культурных сил из столиц. В 1918 г. в Самаре было не мало иногородних писателей. В квартире Б. Л. Краснослободского собирались литературные „пятницы“, которые посещали А. Треплев, Н. А. Степной, Д. Медынский (Спасский), Я. М. Тисленко, А. Колосов, Н. Бахметьев и др. Посещал их и Неверов. Кроме того, в Самаре жили литераторы и поэты — П. Н. Дорохов, Дорогойченко, Г. Берг, Г. Н. Саров², Л. Зилов, Ив. Вольный, М. П. Герасимов, А. Ширяевец, одно время жил Петров-Скиталец и некоторые другие. В 1919 г., вместо „пятниц“, существовал кружок „Звено“, организованный по образцу московского „Звена“ приехавшим из Москвы Е. П. Лукашевичем. Нередко более тесным кружком — Неверов, Степной и др. — собирались и у П. Н. Дорохова, который недавно приехал из Сибири и имел кое-какие запасы продовольствия, а потому „меценатствовал“ — мог напоить чаем с сахаром и немножко подкормить полуголодную литературную братию.

В этой среде Неверов впервые получил должную оценку. За чаем писатели читали свои произведения, обсуждали их, подбадривали друг друга. Неверовым даже гордились. Но все же чувствовалось, что в Самаре ему нельзя, как следует, выдвинуться, и он все время рвался в Москву, долго не решаясь, однако, поехать, как по материальным соображениям, так и благодаря некоторой неуверенности в себе. Впрочем, где-то в глубине „души“ Неверов все-таки верил в себя, и когда читали произведения московских пролетарских писателей, он говорил: „Ну что же, мы-то разве хуже пишем?..“

¹ Упомянутые здесь журналы „Красная Армия“ и „Понизовье“, издававшиеся в Самаре, были несколько не хуже журналов, выходивших в то время в Москве.

² Саров, Георгий Николаевич — товарищ Неверова, писатель и общественный деятель, с.-р. В эпоху колчаковщины трагически погиб (был расстрелян в Сибири). Его памяти Неверов посвятил прочувствованный некролог — журн. „Народная Жизнь“, 1919, № 11—12, июнь, стр. 7—10.

Осенью 1919 г. в Самару приехал петербуржец, драматург Н. Г. Виноградов, который сумел значительно оживить деятельность самарских писателей и придать им большую серьезность. Стали читаться литературные и критические доклады; кроме Н. Г. Виноградова, выступали проф. С. Д. Болухатый ¹, Н. П. Каноныкин, С. Д. Спасский, А. Треплев и др. Читал и Неверов, например — доклад о композиции рассказов Чехова („Мертвое тело“) этюды о творчестве Бунина, Шекспира и пр. ².

Неверов как-то особенно жадно лънул к приехавшим в Самару представителям литературы и науки; он особенно близко сошелся с Н. Г. Виноградовым. По словам последнего, А. С-вич бывал у него почти каждый день и проявлял какую-то восторженную тягу к науке и культуре, как бы всячески старался „напитываться“ знаниями ³. Он очень страдал оттого, что не получил достаточного образования, многого не знает, и с необычайной жадностью схватывал то, что можно было схватить из общения с людьми науки, к которым относился с особым почтением, граничащим с благоговением.

¹ В Самаре в то время был открыт университет, теперь закрытый.

² Некоторые сведения о литературной жизни Самары заимствованы из статьи тов. Самарского „Литературная жизнь Самары. Краткий обзор за пять лет“ — напечатанной в журнале „Понизовье“, кн. 5, Самара, 1922, стр. 74—81, и из воспоминаний А. Неверова о поэте Я. М. Тисленке (там же, стр. 66—72).

И. Е. Лаврентьеву 11 января 1920 г. Неверов писал: „Есть у нас здесь свой литературный кружок — поэтов и писателей, куда, между прочим, входит и проживающий в Самаре москвич, некто Евгений Лукашевич, критик и писатель, и молодой драматург из Петрограда Н. Г. Виноградов, написавший недавно трагедию „Петр Великий“, за которую получил 1-ую премию в Петрограде. Собираемся каждую неделю, спорим, шумим, „ругаемся“... Больших дел, конечно, не делаем, но все-таки как-то приятно отдохнуть среди своей братии“...

Еще в письме от 9-го апреля 1920 г.: „Теперь — как я живу? Будто бы ничего, будто бы не особенно. Нужда заедает. Квартиришка маленькая, тесная. Зимой работать не приходится столько, сколько бы хотелось. Причина — отсутствие света. Но все-таки работал. Много начатых, но еще не оконченных рукописей. В смысле общения хорошо. Организовали мы в Самаре литературно-художественный кружок „Звено“, являющийся как бы отделением московского кружка „Звено“. Собираемся каждую субботу. Читаем свои произведения, доклады. Публика подобралась хорошая. Есть старые писатели; посещают кружок временно проживающие в Самаре москвичи и петроградец — молодой драматург. О том, что уехал из деревни, я не жалею. Город дал мне много нового и, даже, как бы снял некую повязку с глаз. Я стал смотреть на себя с другой стороны. А общение с товарищами по перу многое вылучило во мне, углубило и т. д.“...

³ Одно время он даже слушал лекции в университете.

Благотворно действовало на Неверова и официальное признание в виде премирования ряда его пьес. Писать для театра Неверов как-то стал несколько неожиданно, чем вызвал удивление у своих товарищей, и, например, П. Яровой его недоуменно спрашивал: „Как же ты хочешь писать пьесу, когда театра совсем не знаешь?“ — „А вот попробую“, — отвечал Неверов.

Театра он, действительно, совершенно не знал¹, но тем не менее увлекся им, инстинктивно чувствуя, какой нужен новому театру репертуар. Пьесы Неверова формально местами несовершенны и недостаточно сценичны, но тем не менее в истории русского театра ему принадлежит почтенное место — он один из первых дал материал для современного подлинно-народного, бытового революционного театра. Достоинства пьес Неверова сразу почувствовались и затмили их недостатки. Его „Бабы“ получили первую премию на всероссийском конкурсе Государственного Издательства в Москве в 1920 г.; „Захарова смерть“ была премирована дважды — на всероссийском конкурсе в ТЕО в Москве и на конкурсе Рабоче-крестьянского театра в Самаре — оба раза получила вторую премию; второй же премии была удостоена на конкурсе ТЕО в Москве и „социальная драма в двух картинах“ — „Гражданская война“ — очень интересная и оригинальная по замыслу².

¹ Даже впоследствии, в Москве, Неверову почти не приходилось бывать в театре. Например, он ни разу не был в Художественном театре, в его студиях, в Малом! Был, по словам П. А. Неверовой, лишь один раз на опере „Садко“ в Большом — и, конечно, пришел в восторг. Все говорил: „вот теперь поработаю, а на будущий год уже походим по театрам“, но этого „будущего года“ Неверову не суждено было дожидаться!.. Печальный штрих нашей современной театральной „политики“ — те, кому театр наиболее нужен, бывать в нем не могут. Разве не вопиющая нелепость, что писатель, который является одним из зачинателей нашего народно-революционного театра, вынужден был отказывать себе в удовольствии бывать в лучших театрах? Казалось бы, театры должны были сами звать к себе таких зрителей, встречать их, как почетных и желанных гостей. Ссылка на „нэп“ совершенно была бы несостоятельна: в театрах почти всегда бывает достаточное количество пустых мест и, во всяком случае, всегда есть полная возможность сажать в первые ряды добрых знакомых театральных администраторов. Перед самой своей смертью, А. С-вич в ответе на анкету о быте писателей (см. ниже, стр. 84 и 110—111) с грустью писал: „Бывают ли писатели и поэты в театрах? Думаю, что девяносто из сотни только собираются сходить потому что билет не по карману“.

² В то время много говорили и писали о театре коллективного, массового действия, о пьесах, которые могли бы разыгрываться на открытом воздухе, причем зрители сами были бы и актерами и т. д. Разговоры, конечно, остались раз-

Известие о получении премии, особенно за первую пьесу, необычайно благотворно подействовало на Неверова, — он сразу воспрянул духом. Между прочим, отчасти в связи с премией, ему удалось и впервые в жизни попасть в Москву — это было осенью 1920 г.

В Москве как раз происходил съезд пролетарских писателей. Неверов решил побывать на нем, а кстати получить и премию. Последнее ему удалось лишь после немалых трудов и длительнейших хождений по всевозможным инстанциям. Впечатление от Москвы осталось у него смешанное. Кое-что ему не понравилось: сутолока, непривычная для провинциала, бестолковщина, некоторое недоверчивое отношение к нему со стороны москвичей — вызвали неприятное чувство. Он говорил своим друзьям: „очень уже в Москве все баре“. Но многое и понравилось: пленила близость к культурному центру жизни — те возможности проявить себя, о которых в Самаре нельзя было и мечтать¹. Не даром уже с весны 1921 г. его очень часто начинает занимать мысль об окончательном переезде в Москву, и на эту тему он постоянно пишет Гольдебасеву. О первой поездке в этой переписке сохранились также довольно интересные строки.

говорами, по той простой причине, что пьес таких не было. И вот Неверов, увлекшись этой, во всяком случае, любопытной идеей, пытается создать именно такую пьесу. Как попытка, она очень интересна. В ней — всё коллективно. Действующие лица ее: „Беднота, Богатые, Красноармейцы, Казаки, Женщины, Дети“. — „Действия драмы массовые“ — поясняет автор. Место действия — площадь. Авторская ремарка в начале пьесы гласит: „Конец митинга. Крестьяне, крестьянки, дети. Отряд красноармейцев: пешие, конные. Передки с пушками, обоз, походные кухни, красные знамена. Играет оркестр духовой музыки“. В другом месте такая ремарка: „Сильное движение. Шум. Стройными рядами отряд проходит по улице, входя в село. Впереди верховые с знаменами. За ними знамена крестьянской молодежи... Медленно движутся подводы, нагруженные фуражом. Сидят раненые красноармейцы с забинтованными головами...“ И даже есть такая ремарка: „Вырывается облако дыму. Машут огненные языки. Треск, звон, рев скота, выстрелы. Толпа в стремительном потоке двигается дальше. Площадь редет. Видна виселица с тремя веревками. На земле валяются убитые, раненые...“ Во всяком случае, это — любопытный материал для режиссеров (которые, к слову сказать и не подумали попытаться осуществить неверовский замысел). Да и в целом пьеса, особенно 1-ая картина, оставляет очень живое впечатление.

¹ Кроме того, Неверов познакомился с рядом писателей, как московских, так и провинциальных. Особо удачным было знакомство с группой владимирских пролетарских писателей. Совместно с ними Неверов и другие самарцы издали во Владимире сборник „Рассвет“.

„Приехал из Москвы 1-го ноября,—пишет он...—Роман Ваш передал в Лито. Результат еще не выяснен. Денег не дают. Говорят, что теперь отменено будто бы такое правило — давать деньги вперед под те произведения, которые хотя бы и не были приняты. А в общем жулики все там и думают только о себе. Мой принятый сборник рассказов до сих пор лежит без движения у некоего Кузько. Взял, свинья, и держит в портфеле. Поздравляйте: „Захарова смерть“ получила II премию. Долго шел спор, кому присудить I премию, мне или другому сопернику — Родионову, автору пьесы: „Борьба за Красный Урал“. В той побольше было агитации, и первую присудили ему. По худож(ественному) выполнению моя ценилась выше. „Бабы“ вышли из печати... Поездкой в Москву я очень доволен. Освежился. Завел новых знакомых. Познакомился с Серафимовичем¹, был у него на квартире, пил чай. Познакомился с Георгием Чулковым². Миллион знакомых. Московский худ(ожественный) мир живет широко и вольно — не по-самарски.

Среди них и среди обывателей есть „умелые“ и „неумелые“. „Умелые“ живут шикарно, „неумелые“ ноют... На съезде пролет(арских) писателей я почти не был. Почему? Вот почему: бюро съезда признало меня не пролетарским³ писателем и дало мне совещательный голос. Я взял да и рассердился на них. Бегал по своим делам“. (Письмо от 19 ноября 1920 г.).

Премирование пьес было важно не только для личного самочувствия автора, оно сразу давало ему известность. „Бабы“ были поставлены на сцене одного из петербургских театров⁴, в журналах и газетах появились многочисленные отзывы о неверовских пьесах⁵, о нем заговорили, и, когда он приехал в Москву

¹ Серафимович (Попов) Александр Серафимович, известный писатель-коммунист, в то время был заведующим литературным отделом (ЛИТО) Наркомпроса.

² Чулков, Г. И., писатель.

³ Подчеркнуто Неверовым.

⁴ В районном государственном Смольнинском театре: первая постановка — 17 мая 1921 г.; по 29 мая пьеса прошла 12 раз с большим успехом. Неоднократно после ставилась в Москве, в районных театрах, и в провинции. „Захарова смерть“ была поставлена в Самаре (см. ниже), затем так же, как и „Бабы“, шла в Москве и провинции. Обе пьесы вышли отдельными книжками; затем в значительно переработанном (особенно „Бабы“) виде вошли в собрание пьес, изд. „Красной Нови“. И. Е. Лаврентьеву 1 мая 1921 г. Неверов пишет: „Бабы“ мои идут в Саратове, Баку, Пугачове, Москве, готовятся в Петрограде, но ни откуда еще не получил ни копейки за постановку“.

⁵ В журнале „Жизнь Искусства“, № 733—735, от 18—19 мая 1921 г., был дан, напр., следующий отзыв: „Среди новых пьес, которые пишутся сегодня для театра, неверовские „Бабы“, несмотря на некоторые дефекты, занимают несколько особое положение, как своей несомненной сценичностью, так и подходом, и разработкой

уже вторично, его сразу встретили, как достаточно известного писателя.

сюжета, революционно в лучшем значении этого слова. Нарисованные автором страдания облачают действующих лиц особой красотой и человечностью, которые местами доводят пьесу до глубокого драматизма и пафоса, сообщая ей значение общечеловеческое и выводя ее из среды (?) обыкновенного происшествия". Отзыв — довольно расплывчатый, идеалистический и даже не совсем грамотный, но определенно хвалебный.

Неверов очень интересовался отзывами печати о своих пьесах. Среди его бумаг имеется толстая („общая“) тетрадь, куда старательно наклеены вырезки с рецензиями из столичных и провинциальных газет о его пьесах; выделяются благоприятные отзывы М. Ольминского, В. Полянского, А. Серафимовича и особенно отзыв самого А. А. Блока о „Захаровой смерти“ (напечатан в журнале „Вестник Искусств“, 1922, № 2, стр. 8). Рассматривая все пьесы, выделенные на конкурсе Московского ТЕО, А. Блок приходит к заключению, что „литературную критику способна выдержать только одна — „Захарова смерть“. Это, — пишет Блок, — бытовая драма, написанная прекрасным русским языком“, она — „правдиво изображает некоторые стороны современной деревенской жизни; в носителях старого уклада жизни, очевидно, согласно с заданием, автор подчеркивал по преимуществу отрицательные черты; однако художественная чуткость уберегла его от лжи; старики вышли неправы, но они милее (?) и живее. Носители нового — сбившиеся с панталыку (!) бабы, девки, мужики и казаки — представлены также правдиво... Никаких дальнейших перспектив автор не открывает, будучи верен бытовой правде; поэтому его драма оставляет печальное, но доброе впечатление, не насилует совести читателя и позволяет ему сделать любые выводы, а так как совесть побуждает человека искать лучшего и нового, ...то следует признать, что автору „Захаровой смерти“ удалось, не давая обещаний, которые дальше слов бы не пошли, и не скрывая тяжелой правды, — склонить читателя к новому. Такова судьба всякого подлинно литературного произведения“. Повидимому, Неверов считал „Захарову смерть“, лучшей своей пьесой: в издании пьес он поместил четыре выдержки из отзывов печати о ней и затем, на втором месте, три отзыва о „Бабах“. Едва ли можно согласиться с оценкой Неверова: „Бабы“, несомненно, сценичнее, а „Захарова смерть“, хорошо начатая, явно шита белыми нитками к концу. Неверов вообще не умел кончать ни пьес, ни отдельных действий. Занавес задвигается у него как-то внезапно; нужного нарастания действия нет. Только исключительное мастерство режиссера и артистов может скрасить эти недостатки. Ценность пьес Неверова — в их прекрасном языке, в яркости фигур, в правдивости, сочности диалога, в исключительной верности быту.

К сожалению, наши лучшие театры не обратили своевременно внимания на пьесы Неверова. Ни „Бабы“, ни „Захарова смерть“ не попали на сцены ни академических, ни мейерхольдовских театров, а при всех своих недостатках неверовские пьесы представляют огромный интерес как раз для серьезных театров, имеющих возможность тратить много времени и средств на постановку пьес и обладающих кадром талантливых режиссеров и артистов. Это тем более досадно, что на сценах наших лучших театров мы видели совершенно чуждые нам идеологически или явно бездарные пьесы, вроде „Кофейни“, „Короля квадратной республики“, „Великодушного рогоносца“ и т. п.

Кроме премированных пьес, Неверов написал еще несколько, всего 15 (в собрание пьес, изд. „Красной Нови“, вошли далеко не все)¹. Главное, что окрыляло Неверова—это сознание нужности его пьес. Они шли на красноармейских, на деревенских примитивных сценах; и чувствовалось, что зритель принимает их, что они ему близки. В предисловии к собранию пьес Неверов говорит:

„Моя... задача — дать наиболее доступные пьесы, главным образом, для народного театра, и, если примет их сам народ, для которого они писались, я буду удовлетворен“.

„Если“ Неверов вставил из понятной скромности, так как он прекрасно знал, что „народ“ его пьесы принял.

К постановкам своих пьес Неверов относился с большим интересом, часто даже выступая сам в качестве артиста.

„Недавно мы (читайте Я) от имени „Дома печати“,—пишет А. С-вич Гольдебаеву 13 дек. 1920 г.,—устраивали литер. - худ. вечер (платный) в театре проф. союзов (Дворец Труда). Были при этом разнообразные номера пения и скрипки при участии артистов оперы — членов Дома печати. В заключение ставили 1-актную пьесу вашего покорного слуги Неверова с участием самого греховодника - автора. Пьеса назыв(ается) „Женское засилье“. Вечер и, в частности, пьеса имели, как говорят, заслуженный успех. Из артистов был отмечен Неверов (подивитесь-ка!). Пьесу играли своими силами: я, поэт Кий и две машинистки из Роста. Валовой сбор 96 тысяч. Билеты нарахват. Чистый сбор 52 т., каждому участнику досталось по 4 т.²... Вот каковы дела. Думаем написать еще пьеску с упрощенной постановкой и представим своими силами...“

Мысль об этом, как видно, не дремала, так как уже 22 дек. того же года А. С-вич развивает ее дальше:

„Есть у нас мысль создать драматический кружок из писателей: напишем несложную вещику и сами поставим ее. Моя пьеска „Женское засилье“ пользуется большим успехом у публики. Ставили мы ее во „Дворце Труда“ и в „Пушкинском“—фурор. Святками думаем поставить еще одну мою пьеску“.

¹ В „Собр. Соч.“, т.т. III—V, они напечатаны все, за исключением пьесы „Стена“, изъятой ред. коллегией изд-ва „Земля и Фабрика“. См. Добавления, стр. 198—199.

² На эту сумму можно было купить тогда фунтов 5 хлеба.

24-го января 1921 г. А. С-вич вновь возвращается к той же мысли:

„Недавно набухал еще одну пьеску: „И смех и горе“, комед(ия) в 3-х действ(иях). Собираемся ставить ее своим кружком литераторов. Репетируем. Идет хорошо. Организуем театр „Революционной сатиры“ в порядке частной инициативы. Уже имеются три одноактных пьесы,—две моих. Наш губнароб¹ давно жует эту жвачку, но мы хотим поставить ему очков. Сами пишем, сами играем. Вот мы какие! Пьесы пишем специально для своей труппы. Немного лиц—4-5 человек, меньше декораций, бутафории и т. д.—одним словом, такие пьесы, где много смеху и мало сложности в смысле постановки. Думаем обслуживать не только окраины, но и центр города и пригородные села...”

Слово не расходилось с делом: 19 февраля Неверов сообщал „деду“ уже об успехе пьесы:

„Выдумали мы здесь свой драматический кружок пролетарских писателей и ставим мою пьесу „Смех и горе“. Помните про попов с комиссаром в кавычках? Идет с большим успехом. Сегодня 19-го ставим ее в 4-ый раз в Аквариуме. Громы аплодисментов, буря восторгов. Серьезно. В Самаре давно уже так не хлопали, как хлопают нам. Из сего Вы можете заключить, что с некоторого времени я артист. А вернее: чтец, писец и в буду(щем?) игрец. Говорят, что играю недурно. Веду роль попа Михаила Хорохоренского. Материально спектакль дает мне в среднем 10—12 тысяч² за вечер: за роль и авторский пай. Что поделаешь? Как прошли „Бабы“ в Пугачове?...³“

А. С-вич не преувеличивал своих артистических успехов. Так говорят его товарищи, видевшие его на сцене; об этом же можно судить и по тому, как он читал свои произведения. А чтецом, надо сказать, он был совершенно исключительным, передавая свои вещи прямо неподражаемо.

¹ Т.-е. „Губернский отдел народного образования“.

² В том же письме А. С-вич писал: „Мука стала 60 т(ысяч) пуд, мясо—50 тысяч пуд“.

³ Из записей Неверова в упоминавшейся тетради видно, что первые представления пьесы „Смех и горе“ состоялись 9, 12 и 16 февраля 1921 г. Исполняли роли: Хорохоренского — Неверов, Захария — Уваров, Паникадилова — Яровой, Светозарова — „брат Петр“ (т.-е. П. С. Скобелев), комиссара — арт. Вронский, Таисии — любительница Ларина, Агнии — любит. Уварова; 26-го февраля пьеса шла (в 5-й раз) в исполнении тех же лиц на инженерных командных курсах и 12 марта

Впрочем, не одни успехи приходилось изведывать Неверову, бывали и неудачи. Одной из таких, очень неприятных для А. С-ча и очень печальных по последствиям, была неудача с „Гусями-лебедями“. Этому роману Неверов придавал большое значение и писал его с особою любовью. Когда была написана значительная часть, он читал ряд глав в товарищеском кругу писателей. Оказалось, что прочитанное не всем понравилось: один из присутствовавших — т. Спасский (Медынский), по словам П. Н. Дорохова и Н. А. Степного, выступил с очень резкой критикой, заявил, что вещь — слабая, замысел неудачен, язык не народный и т. д. А надо сказать, что Неверов был до болезненности чувствителен к дурным отзывам. От похвалы он всегда расцветал, от осуждения как-то весь съеживался, терял веру в себя. Особенно, если дурной отзыв шол от лица „высококвалифицированного“ — писателя, или, упаси боже, профессора¹. Так было и тут.

(в 6-й раз) — на пехотных командных курсах. В 1924 г. пьеса шла в Москве в районных театрах. Пьеса „Богомолы“ исполнена была впервые 21 февр. 1921 г. в театре „Аквариум“ (вместе с пьесой „Женское засилье“). Исполняли роли: Крымзина — Неверов, Штукина — Вронский, Данилушки — Яровой, Мешочника — Уваров, Ванюшки — П. Скобелев, Катерины — Уварова. В пьесе „Женское засилье“ Неверов исполнял роль Соколова.

¹ Не могу не припомнить одного, крайне неприятно на меня подействовавшего случая, которому я сам был свидетелем. Впервые я слушал чтение А. С. Неверова 29 сентября 1923 г., меньше чем за три месяца до его смерти, на литературном вечере кружка „Никитинские субботники“ (называется так по имени учредительницы кружка поэтессы Е. Ф. Никитиной), секретарем и деятельным участником которого он был. Читал А. С. два прелестные рассказа „Красный сыщик“ и „Дыр-доска“. Читал неподражаемо, с исключительным юмором. Было как-то по-особенному светло и радостно его слушать. Вдруг в прениях выступает один из известных молодых профессоров литературы т. Б. с получасовой речью-лекцией, в которой самым форменным образом „разнес“ Неверова. Объявил его рассказы стоящими „вне литературы“, чем-то вроде „физиологических очерков“, которыми преизобиловали страницы журналов и альманахов в 40-е годы прошлого века. Говорилось все это профессорски-поучительным тоном с неизвестно чем вызванным пафосом и апломбом. Бедный А. С-вич весь как-то съежился, посерел, глаза усиленно замигали, он покраснел, вспотел. Я счёл своим долгом заступиться за него, и, взяв слово, сказал, что суд предыдущего оратора слишком строг, что, хотя прочитанные вещи не являются произведениями большой общественной значимости, и сам автор, вероятно, не смотрит на них так, но это — прелестные художественные миниатюры, особенно ценные тем, что автор щедрой рукой черпает из быта и языка наших дней. В антракте А. С-вич подошел ко мне и ласково поздоровался. Моя „защита“, видимо, была ему приятна. Впоследствии я сказал ему, что собираюсь писать о нем; он любезно согласился написать для меня свою автобиографию, ответить на все вопросы, и сказал, что ему очень приятно будет знать, что о нем пишется серьезная

Критику „писателя“ тов. Спасского Неверов принял горячо к сердцу, вера в себя и в роман пропала, и он был надолго заброшен. Через некоторое время Неверов, правда, энергично принялся за него, но конца так и не успел написать, и в русской литературе оказалось еще одно замечательное, но неоконченное произведение.

К счастью, такие случаи все же были редки. Обычно Неверов имел успех и, чем непосредственнее он выражался, тем был ему дороже; аплодисменты зрителей красноармейцев или крестьян говорили ему яснее всяких отзывов критиков¹, что он подлинный писатель рабоче-крестьянской Руси, хотя бы съезд пролетарских писателей и не дал ему официального признания. Особенно памятен друзьям Неверова один его успех. Как-то раз он стал читать детям. Детишки не имели никакого представления о Неверове, да и вообще о литературе, кроме того, были голодны и вовсе не расположены слушать. Но по мере того, как Неверов читал, становилось все тише и тише; слушали, затаив дыхание, а когда он останавливался, кричали: „дяденька, читай еще“...

Несмотря на то, что А. С-вич сам до некоторой степени был еще „начинающим“, он в это время уже очень много

книга. К сожалению, до его внезапной смерти я не успел с ним более подробно поговорить о предполагаемом труде, и его обещание, в значительной степени по моей вине, так как я за недосугом все откладывал и откладывал свидание с ним, — так и осталось невыполненным. Внезапная смерть А. С-ча заставила меня энергично приняться за работу о нем, сообщив ей, конечно, несколько другое направление и положив свой „предел, его же не преjdeши...“

¹ В упоминавшейся уже анкете (см. стр. 77) Неверов так писал о критике: „Литературная обстановка, если можно так выразиться, до сих пор для большинства современных писателей и поэтов тоже такова, что находятся они в каком-то безвоздушном пространстве за тысячу верст от современной критики в лице ее талантливых представителей. Критика современная не видит и не хочет видеть современных писателей. И если она одних усердно афиширует, ставя им плюсы и минусы художественного и идеологического характера, то других усердно обходит, замалчивает, откладывает в „долгий ящик“. Писатель не требует похвалы, но на общественное внимание в лице критики он имеет право, ибо критика нужна как воздух, как свет, как начало, организующее и укрепляющее писателя.

А поскольку этого нет, поскольку писатель, работающий не за грош, а по внутреннему убеждению, является лишь б а т р а к о м, которому со всевозможными проволочками платят 40 рублей за печатный лист, то отсюда на мой взгляд — писательская усталость, некая о б и д а, разочарованность, которые легче всего забыть за стаканом пива (!). Как бороться с этой стороной писательской жизни, — полагаю, что выводы ясны“

заботился о помощи молодым, неопытным писателям из народа. Его заветной мечтой было создать такие условия, в которых бы всякий начинающий молодой писатель—крестьянин или рабочий—находил дружескую поддержку, совет и помощь. Заведую одно время художественно-литературной секцией „Лито“¹ Самарского Губполитпросвета, он очень много времени и энергии уделял этой работе. „Работал он, — рассказывает Н. А. Степной, — не жалея себя... Перечитывал, исправлял рукописи, давал советы...“²

К сожалению, у нас пока нет достаточных материалов, чтобы осветить подробно работу А. С-ча в этом направлении за самарский период его жизни. Об аналогической деятельности Неверова в последние годы его жизни, в Москве, будет речь впереди.

Жизнь в Самаре за эти годы довольно слабо отразилась в творчестве Неверова, но все же можно отметить некоторые вещи, непосредственно навеянные самарскими впечатлениями.

Это, во-первых, с большой любовью написанный рассказ „Веселые ребята“³. Посвящается он „литератору, деду Гольдбаеву“, и речь в нем идет о самом „деде“, о его дочери—„Алёнке“ и о „молодом беллетристе—Бегунке“, под которым, разумеется, нельзя не узнать самого автора.

Другой рассказ—„Хлеб наш насущный“, явно автобиографический, гораздо более мрачный. Перед нами—писатель Николай Сергеевич, который „заканчивает новую повесть“. В городе голод. Меняют последние вещи на хлеб, чтобы не умереть с семьей с голоду. Жена, Анна Владимировна, снимает батистовую кофточку,—

„обрадованно говорит, скрывая улыбкой печаль на лице:
— Продам и ее. Зачем она мне?

Опять едят белый хлеб с молоком—кофточки хватает ненадолго. Вслед за ней уходят простыни, наволочки, детское одеяло, старые отпоротые кружева. Вещи исчезают с поразительной быстротой, а цены на хлеб и на дрова поднимаются все выше и выше. Николай Сергеевич прощается с креслом.

¹ Образовалось в январе 1921 г.

² „Наш Труд“, № 2, 1924, стр. 97. См. подробнее вводн. ст. в I т. Собр. Соч. Неверова, стр. 14—15.

³ См. Добавления, стр. 200.

— Ну, старик, прощай! Не знаю, кто будет сидеть на тебе, а мне придется заканчивать повесть на этом вот ящике...“

Чувствуют голод и дети:

„— Папа, а если мы умрем? Нечего нам будет есть, мы и умрем...“

Анна Владимировна несет на базар последнюю юбку и детскую книжку с картинками...“

Кончается рассказ кошмарно — жена писателя решается на последнее средство: идет на улицу, но ребенок все-таки умирает. Когда мать приходит домой „со смятыми бумажками в кармане“ — уже поздно:

„Ребенок лежит на кровати со сложенными ручонками. На тонких застывших губах — хорошая, спокойная улыбка. Кончены земные печали...“

Неверов сгустил краски; всего, что описано здесь, ему не пришлось испытать, но многое, конечно, взято прямо из своей жизни.

Любопытен еще и рассказ „Стишок“, посвященный мукам начинающего писателя из рабочих — слесаря Павла Данилова, которому удалось поместить в местной газете одно свое стихотворение; это его чуть с ума не свело — решил стать писателем, но выбиться так и не удалось... Также некоторые другие рассказы из городского быта: „Инструктор“, „Кровать“, „Милостивый государь“, „Самоохрана“, „Барыня“, и пр., вызваны, несомненно, самарскими впечатлениями.

Как ни полна была жизнь Неверова в Самаре, он все более и более начинал стремиться в Москву. С начала 1921 г. А. С-вич постоянно говорит об этом в своих письмах. Но решиться ехать было страшно:

„Ехать в Москву мне хочется, — пишет он, — но как ехать? Вперед одному? Семья не обеспечена. Ехать с семьей — боязно. Кто знает, какое положение будет весной“. (Письмо к А. К. Гольдебаеву от 19 февр. 1921 г.).

„Что касается моего желания пожить в Москве, оно вам известно, — пишет он 3-го мая, — но как я поеду, скажем, вот теперь, — через неделю, через две? Одному ехать — семья

останется голодной: хлеба ни крошки. Ежедневно вечно в поисках. Всем ехать—вы пишете: берите больше продуктов. А откуда я их возьму? Здесь мука тоже 150 т. руб. пуд. Затем, как меня устроит Москва в смысле жратвы? Где можно работать? Какие условия? Сколько может остаться у меня свободного времени, чтобы отдать его на любимую работу...”

Уехать было не так-то просто. Вскоре удалось, правда, устроить жену с детьми в детском доме, но ехать все же в Москву было боязно.

А тем временем наступило ужасное для Поволжья лето 1921 г. Солнце жгло неумолимо. Выгорели последние надежды на урожай. Стало ясно—надвигается страшный голод. Все, кто мог, бросаются бежать.

А. С-вич проявляет максимальную энергию и едет в Туркестан за хлебом. Эта поездка спасла его с семьей от голода и, кроме того, оказалась необычайно плодотворна для него, как писателя—она дала ему материал для создания одной из лучших вещей—большой повести „Ташкент—город хлебный“.

Поехал Неверов вместе со своим братом П. С. Скобелевым, Н. А. Степным и П. Н. Дороховым. Последний работал в кооперации и мог устроить вагон, при котором официально Неверов с товарищами числились в качестве... охранной стражи при грузе. Выехали они 12 августа 1921 г. Ехали чрезвычайно долго, по дороге останавливались в Актюбинске, Туркестане, Ташкенте, Самарканде—устраивали даже литературные вечера, выступали с лекциями и чтением своих произведений. Успех имели очень большой, но материальных результатов эти выступления не дали почти никаких. Однако, в общем поездка оказалась удачной. С собой были набраны всякие домашние вещи, всякая рухлядь, а также сколотили некоторые суммы денег (авансы за литературные произведения), и на все это удалось выменять и закупить достаточное количество хлеба—пудов по 20 на человека было привезено в Самару. Поездка длилась более двух месяцев¹. Условия, в которых приходилось ехать, были, разумеется, самые примитивные. „Как сейчас вижу,—рассказывал мне П. Н. Дорохов,—А. С-ча в одной нижней рубашке, в опор-

¹ 19-го ноября 1921 г. Неверов писал Гольдебаеву: „Скоро месяц, как я приехал из Ташкента“.

ках на босу ногу с расстегнутой грудью, — жара была страшная, да и все, ехавшие в поезде, были в таких костюмах, так что выделяться было бы и неудобно; — ходит он по какой-нибудь станции с примусом в руках или штиблетами; его окружает киргизье; он предлагает меняться на хлеб или за деньги. Больше, впрочем, продавали, чем меняли, так как в Ташкенте хлеб был дешевле...“ В дороге участники этой поездки еще и расхворались — сам А. С-вич схватил малярию, но тем не менее все не унывали, Неверов же был особо энергичен, всех подбадривал, даже писал — именно тут он написал „Веселых ребят“ и записывал кое-что из виденного, что потом уже в Москве было обработано для „Ташкента“.

Приехав домой, А. С-вич мог считать себя с семьей более или менее застрахованным от голодной смерти. Но ехать в Москву он все-таки не отважился собраться сразу. Сначала он решил отложить поездку до „святых“, потом — до весны. Задержали его отчасти и литературные дела — на привезенный хлеб он, между прочим, рассчитывал кое-что напечатать, платя в типографию мукой.

28-го дек. 1921 г. Неверов писал Гольдебаеву:

„Федот¹ ругает меня на чем свет стоит — почему я не еду в Москву. А я не еду. К худу ли, к добру ли, но я не еду. Что я делаю в Самаре? Вот слушайте. Пишу рассказы в „Коммуну“. Служу в Госиздате членом редакционной коллегии. Сдал в печать „Захарову смерть“ и „Гражданскую войну“. Сегодня сдал еще три рассказа издать маленькой книжечкой². Как по-вашему? Следует посидеть в Самаре до выхода книжек?... ..Ведь что даст мне Москва? Я должен дать ей, если уж на то пошло, а у меня под руками пока нет ничего. Думаю за зиму кое-что написать...“

Подошла весна, а Неверов все не мог выбраться.

„Когда я выеду из Самары в Москву? Каждый день думаю об этом, — писал он 7-го марта 1922 г. — Да что поделаешь с жизнью? Она, ведьма, держит. Нужно устроить меня на работу, работы с „пайком“ нет, а как я могу бросить семью? Случись что-нибудь со мной, она погибнет в самарских условиях. Вы, дедок, не ругайте меня. В клещах я сижу...“

¹ Федот Емельянович Комаров (П. Яровой); он уже в это время переехал в Москву.

² Сборничек „Поросенок“ или „Марья-большевичка“.

Только в мае 1922 г. Неверову удалось, наконец - то, обратиться из Самары...

Зима 21-го и весна 22-го года—эти страшные месяцы давно невиданных ужасов голода дали Неверову материал для нескольких произведений исключительной силы. Сам лично имея возможность пережить голод, он остро и болезненно ощущал то, что совершалось вокруг него.

„В Самарской губ(ернии) невообразимые ужасы, — пишет он Гольдебаеву 7 февраля 1922 г.—Людоедство, трупоядение—обычное явление. Самарские газетчики (разношники) так и кричат на улицах, чтобы заинтересовать потребителей газетного слова:

— Людоедство в Пугачовском уезде!

— Суд над людоедами в Самаре!

А, подумайте-ка, милый дед! Город забит нищими из деревень. Уже не просят милостыню, а просто кричат под окнами истошным голосом. Смертность невообразимая. Говорят, что если помощи не будет, то к весне в деревнях останется населения не более 10—20%. Оказываемая помощь недостаточна. Самарский крестьянин идет на голгофу, а подлая, культурная Европа устраивает конференции...”

О том же самом и почти в тех же выражениях Неверов говорит и в письме от 19 марта, впрочем, прибавляя и ряд новых, любопытных штрихов:

„В губернии на почве голода творятся ужасы. Людоедство—бытовое явление. Но страшнее всего то, что о(бщест)во буквально потеряло способности реагировать на эти бедствия. Каждый живет исключительно для себя. Никаких принципов общественности нет. Самаре угрожает чума, холера и другие прелести. Какому богу молиться? Какого бога просить? Все боги ушли под пороги. А подлая Европа... Ах, какая она подлая, и вся культура ее подлая. Да и нет у человечества культуры: призрак один. Есть совершеннейшие аппараты техники, а духовный аппарат самый ничтожный, самый жалкий. Самая величайшая политика Ллойд-Джорджей не в состоянии оправдать тех ужасов, какие творятся в Поволжье, благодаря этой политике. Плюнуть хочется в самую физиономию хваленной европейской культуры. Самарская губерния, вероятно, погибнет на $\frac{2}{3}$, если не больше. Бедные крестьяне!”

Эти проклятья, посылаемые в лицо буржуазно-капиталистической Европе и ее культуре, чрезвычайно характерны для

Неверова; так, полунстинктивно, выковывался его подход к коммунистическому миросозерцанию.

Из всего написанного о страшном 1921 году страницы Неверова—самые сильные, самые правдивые, самые потрясающие.

Первоначальные свои впечатления от поездки в Туркестан А. С-вич набросал в рассказе „За хлебом“, потом развернул их в повести „Ташкент—город хлебный“, преломив все виденное через психику ребенка. Кроме того, на мотивы голода им написаны одноактные пьесы „Голод“ и „А там, в Поволжье“, рассказ „Далекий путь“, цикл маленьких рассказов „Страдание“, кошмарно-потрясающая миниатюрка „Обыкновенное“ (рассказ крестьянки-людоедки)¹ и еще несколько вещей. По этим произведениям, как по историческому документу, тем, кто не видел и не переживал кошмара Поволжья в 21-ом году, можно его увидеть и пережить.

Уже с конца весны в страшном зное и бездождии не трудно было видеть зловещие предзнаменования:

„Тщедушные низкорослые овсы, как вылезли в раннюю весну мелкими иглами, так и остановились. Побелели, измочалились, превратились в сухое колючее сено. Лишь немногие выровняли соломку, выбросили сережки, но зерно не успело налить, сережки остались пустыми.

Редкой порослью торчала пшеница с голыми бесперыми бустылами. Пересохшие безусые колоски сжимали крошечные рано пожелтевшие зерна с впалыми пожелтевшими боками...

Дули горячие полуденные ветры, крутились косматые вихри. Дыбились, носились по полям, как дикie разнузданные кони с распущенными хвостами, жадно вылизывали пыль. Задыхались овцы, падали ягнята. Стада по целому дню стояли в пересохших озерах и медленно вылезали на лысые протоптанные бугры“. („Далекий путь“).

Надо бежать из сожженного солнцем края. Но как бежать? Куда бежать? Чем взяться? И привыкший жить на своем месте русский мужик долго и терпеливо ждал смерти, пока была хоть малейшая возможность существовать.

Но вот подбираются последние крошки. Нечем кормить скотину.

„Первой из коров обессилела Емельянова буренушка с грязными, пропыленными ноздрями. Уложили ее на дроги, везли

¹ Впервые напечатана мною с рукописи в IV т. Собр. Соч. Неверова.

до села, связанную веревками с широко раскинутыми ногами. Не редела она, не билась. Лежала покорная, отвернув назад маленькую голову. Только в мутных глазах застыла тоска предсмертная. Дома над ней плакала Анна с тремя ребятишками, скорбно кричал дед Василий, постукивая палочкой по мертвым бокам. Сам Емельян молча оттачивал нож. Когда выпростили красное костлявое тело, чтобы вывезти на гумно собакам, неожиданно сказал старику:

— Тятя, режь ей брюхо“...

А когда с отвращением съели дохлую „буренушку“, мать говорила ночью лежавшему в люльке ребеночку:

„— Умирай теперь, Петенька. Буренушки нет, и молочка нет. Чем буду кормить?“

Послали деда побирать. Но он не дошел до соседнего села. Привезли его домой, как и буренушку, на телеге.

„— Ты не сердись, сынок, я скоро умру...“

Емельян составил план. Старик и двое ребятишек должны умереть. Третьего можно бросить в приют. Сделать тележку, покрыть ее буренкиной кожей и самому с женой бежать скорее от костлявых протянутых рук. Долго продумывал план, по-хозяйски, всякий раз выходило:

— Иначе нельзя“.

Но дед не умирал. И ребята не умирали. Когда к деду подходили, он раскрывал отяжелевшие веки, с трудом говорил черными обметанными губами:

„— Жи-во-ой!“

Петенька в люльке лежал мертвецом, вытащенным из могилы. Голод провалил ему глаза, высушил кожу на щеках, обнажил мелкие ягнячьи ребра...

Емельян готовил повозку“...

Наконец, дед умер, но... вместе с ним издохла и лошадь — последняя надежда на спасенье.

„Присел Емельян на корточки, взял лошадь за голову обеими руками, неожиданно заплакал.

— Что же ты делаешь со мной?...”

А таких Емельянов были тысячи, сотни тысяч, миллионы.

Пришла осень, исчезли остатки последних надежд. Одни просто умирали. Другие в отчаянии бросались на юг за хлебом. Все равно умирать, чем сегодня, так лучше через два-три дня. Бросались на поезда, лезли на крыши, на буфера, брели пешком вдоль полотна...

Едва ли можно было лучше изобразить этот страшный поход за хлебом, когда вся цель жизни у сотен тысяч беглецов сводилась к одному мечтанию о возможности достать хоть корочку, хоть кусок, лишь бы выдержать, не умереть сегодня, завтра; когда все человеческие отношения как-то жутко опростились и огрубели, — чем сделал это Неверов.

„Степь. Синие горы, одинокие холмы, брошенные разоренные становища...

Станции разрушены, загажены переселенцами. Валяются разбитые вагоны под откосами, осыпаются, зарастают сорной травой окопы — следы гражданских битв. Медленным шагом идут пешеходы: женщины, девушки, парни, ребята. Режут степную дорогу вдоль полотна, теряют друг друга. Кто закрыт шалью, мешком, дерюгой, кто идет с голыми плечами. Мужики в бабьих жакетках, бабы — в мужских полушубках. Ковыляет солдат с деревянной ногой. Босая баба тащит ребенка под шубой. Ребенок сосет арбузную корку. Девчонка завернула верхнюю юбку на голову, отстает, прихрамывает, испуганно кличет передних. А передние идут и идут, пока несут ноги. Все они сброшены с крыш, с буферов, с тормозных площадок на сердитой станции и шагают в надежде дойти до следующей, которая не углядит за всеми, или просто рукой махнет по доброте человеческой, и кое-кому удастся доехать до Казалинска, до старого Туркестана, а там опять как-нибудь.

Обессиленные лежат при дороге в траве, устало поднимают головы вслед уходящему поезду, и снова свертываются одинокие, никому не нужные в холодной степи...“ („За хлебом“).

На станциях картины еще кошмарнее, еще ужаснее. Неверов неумолимо рисует их одну за другой, и они остаются навсегда в памяти читателей, — незабываемые, неизгладимые.

Вот одна:

„Голые бабы со спущенными по брюхо рубахами, косматые и немые, вытаскивали вшей из рубашечных рубцов. Давили ногтями, клали на горячие кирпичи, смотрели, как они дуются, обожженные. Мужики в расстегнутых штанах, наклонив головы

над вывороченными ширинками, часто плевали на грязные окровавленные ногти. На глазах у всех с поднятой юбкой гнулась девка, страдающая поносом, морщилась от тяжелой натуги...

Приходили поезда, уходили.

Счастливые уезжали на буферах, на крышах.

Несчастливые бродили по станции целыми неделями, металась в бреду по ночам. Матери были над голодными ребятами, ребята грызли матерям тощие безмолочные груди...“ („Ташкент—город хлебный“, гл. 10-ая).

Вот другая:

„На станции по вагонам бродят ребятишки брошенными беспризорными щенками. Валяются обессиленные бабы, из-под дерюжек выглядывают умирающие. Слезы, стоны, холодный ветер. Точно дьявол справляет невиданную вечеринку. Молитвы и проклятья, любовь и ненависть, надежда и отчаянье — все перепуталось. Почерневший мужик утомленно рассказывает:

— Бегу, а смерть за мной. Кошка черная была—и ее съели.

— Съели?

— Ничего не осталось, наразрыв пошло. Выйдешь на улицу, а деревня воет. С ума многие сошли. Умерла девчонка у нашего соседа — он ее в погреб и давай топором рубить на кусочки.

— Рубить?

— Как мясо.

Баба тоскует напевом:

— Была я и в городе, была я и в городе. И нет, и нет, и нет, и нет...

— Не кормят?

— И нет, и нет, и нет, и нет. Положила я своего младенчика и ушла. Положила и ушла. Встала за угол и стою. Стою и стою. Вернулась, а он из пеленочки смотрит. Взяла на руки — мертвый...“ („Далекий путь“).

А вот еще:

„Станция забита, лежат в третьем классе, лежат в первом классе, по коридорам, под ногами — кому где удалось. „Классы“ похожи на стойла. Тут же мочатся, испражняются, не в силах выползти наружу. Пачкаются сами, пачкают других в темноте, с ужасом ждут смерти на далекой чужбине. Безумьем, отчаянием горят темные впадины глаз, беспомощно тянутся костяки тощих, обессиленных рук.

— Товарищ, кусочек!

Иступленная мать кричит на ребенка:

— Задушину!... Вот сейчас задушину... Смертушка!

А сама целует, прижимает „дитю“, плачут в два голоса“.
(„За хлебом“).

А рядом с этими умирающими, заеденными вшами — „счастливые“, которые могут ехать, и от этого неравенства кошмар становится еще кошмарнее:

„Вагон забит мешками, корзинками, сундуками. Везут самовары, кровати, примуса, керосинки, кольца, серьги, золото, серебро, керенки, николаевки, советские „серпы с молотками“. На стенах висят кружки, замки, сапоги, листовой табак. Все должно обменяться на хлеб — там, в земле обетованной, в богатых степях Туркестана. Одни говорят — хорошо идут швейные машины, котлы, нитки, другие уверяют — ни черта это нейдет, надо везти: столы, этажерки, стулья.

Григорий Степаныч, хозяйственный мужичок, везет четыре самовара, трое сапог, швейную машину, несколько аршин мануфактуры...“ (Тот же рассказ).

И тут же такие „архироссийские“ сцены:

„Смазчик стучит молотком по колесам. Мужики глядят десятком глаз. Вагон с мукой. Смазчику хочется есть. Заглядывает в боксу.

— Вагон не годится.

— Што ты, товарищ, — новый!

— Букса горит.

За смазчиком бежит старший поезда, долго шепчется, рядится, снимает шапку, разводит руками. Смазчик кладет в карман полученные деньги, весело говорит:

— Сами знаете, второй месяц жалованья не получаю...“
(Тот же рассказ).

Но наибольшей силы художественной изобразительности достиг Неверов в маленьких миниатюрках, своего рода „стихотворениях в прозе“, объединенных в цикл „Страдание“.

Едва ли можно более сжато и потрясающе рассказать об ужасах голода, чем сделал это Неверов хотя бы в миниатюрке „Черная кошка“:

„Целый день мяукает. Не то в сенях, не то под кроватью... Митрофан приподнимает голову. В страшных провалившихся глазах — радость:

— Кошка!

Медленно опускается на пол, лезет головой под кровать:

— Кыс-кыс-кыс!

Тихо.

Лукерья на лавке держит большой лошадиный мосол, дико вращает глазами. На печи, свесив голову, умирает ребенок, пищит перехваченным голосом.

Митрофан заглядывает в сени. В углу сидят две кошки: черная и белая. Уши расставили, глядят прямо в лицо мужику, хвостами легонько ворочают... Дрожит Митрофан. Хватает запорку от сеней, бьет кошку по голове. Кошка падает, вертится без памяти под ногами, как бешеная. Глаза кровавые, рот — разинутый.

Митрофан падает грудью на нее, хватается за шею.

— Стой, акаянная!

Лежит больше часу с крепко стиснутой запоркой в руках. Слышит — кошка в избе мяукает.

— Убежала.

Ползет Митрофан из сеней, кошка с печи смотрит: черная, глаза кровавые. Вглядывается хорошенько, а это и не кошка совсем: ягненок с белым пятном на лбу...

Хороший ягненок, доверчивый — жалко душить. Смотрит на Митрофана помутившимися глазами, вздрагивает, ногами легонько бьет, хрипит:

— Тя-а-тя!

— О-ой! — вскрикивает Митрофан...

Сидит. Глаза закрыты. Сердце колотит тупыми ударами. Руки вытянуты. Голова назад запрокинута. Тухнет последнее сознание... Боится выронить маленького ягненка из рук — крепко держит за горло. Все глубже и глубже впиваются твердые пальцы клещами — не дышит Митрофан.

Ухватившись руками за косяк, в дверях стоит черная кошка с разинутым ртом, жалобно стонет:

— Мит...фа-а-ан!"

Или еще того страшней:

„Бабушка Марья лежит на полу. Видны только щиколки ног из-под накинутаго дерюжки, черные изогнутые пальцы на руках да добрые уставшие глаза, налитые неизмеренной скорбью.

Старший сын Михайло, с большой бородой, отворачивается, долго плачет в сенях. Опять ворочается в избу. Щупает бабушкину руку с черными, изогнутыми пальцами — живая. Сердце сжимается тисками. Еще минута — лопнет от напряжения. Хватается руками за стол, тяжело дышит разинутым ртом.

— Глаза!

Без слов говорят Михайле они:

— Погоди, сынок, не надо...

В углу над тремя ребятишками плачет Анна, жена.

— А, господи наш, господи! А, господи наш, господи!

Михайла берет ножик.

Наклонился. Застыла рука.

Хорошо смотрят добрые, уставшие глаза у бабушки, налитые неизмеренной скорбью.

Михайла стискивает зубы, сидит неподвижно. Злобно откидывает ножик, кричит на жену с ребятишками:

— Черти!

Падает на кровать, вниз лицом. Кусает руки.

Вскакивает. Бешено мечется по избе, рычит в отчаянии, топает, безумно кричит:

— Ка-ра-у-ул!..

Дрожит, накидывает тряпку на глаза бабушки Марьи, чтобы не смотрели на сына неизмеренной скорбью. Задыхаясь от ужаса, шепчет:

— Мама! Прости, Христа-ради!..“ („Глаза“).

Нерукотворными, подлинно, памятниками страшного года, когда вымирали миллионы русских крестьян, а „подлая Европа устраивала конференции“ — навсегда останутся эти потрясающие неверовские страницы...¹.

В начале мая 1922 г. Неверов наконец-то выехал в Москву, и с этого момента начинается последний, очень короткий (всего полтора года), но наиболее интенсивный период его жизни и творчества. Оставив семью пока в Самаре, А. С-вич устраивается временно у П. Ярового, в общении писателей группы „Кузница“. Он быстро осваивается с литературной Москвой, отчасти потому, что встречает ряд своих знакомых, самарцев, а также москвичей и владимирцев, с которыми познакомился еще в первую свою поездку в Москву, отчасти потому, что приехал не с пустыми руками. Правда, далеко не все шло гладко; так, Неверов был очень огорчен отказом тов. Воронского, тогдашнего редактора „Красной Нови“, принять 1-ую часть романа „Гуси-лебеди“². Лишь спустя некоторое время, удастся устроить „Гусей-лебедей“ в журнале „Молодая

¹ Ср. еще „рассказ крестьянки“ — „Обыкновенное“ (Собр. Соч., т. IV). См. Дополнения, стр. 200—202.

² Об этом в своем роде „историческом“ отказе т. Воронского см. любопытные подробности в упоминавшейся статье П. Ярового в № 2—3 „Рабочего Журнала“ за 1925 г.

Гвардия"; затем два тома рассказов — принимает издательство „Жизнь и Знание“ (В. Д. Бонч-Бруевич)¹, том пьес — из-во „Красная Новь“.

Зато, как желанный товарищ, Неверов появляется в различных литературных кружках и организациях — в „Кузнице“, в кружке „Современники“, на вечерах „Никитинских субботников“ и пр. Наиболее деятельно Неверов работал в „Кузнице“ вплоть до распада ее, когда осенью 1923 г. он, после долгих принципиальных споров, вышел из „Кузницы“ вместе с рядом других писателей², образовавших впоследствии „Коллектив рабоче-крестьянских писателей имени А. С. Неверова“, и в кружке „Никитинские субботники“, где он осенью 1922 г. был избран секретарем и исполнял эти обязанности вплоть до смерти.

Можно сказать, что к последним месяцам своей жизни Неверов получил полное и достаточное признание, как один из даровитейших и оригинальных представителей молодой рабоче-крестьянской литературы. Неверову уже не приходилось заботиться об устройстве своих произведений. Всё, что ни писал он, печатали охотно. Незадолго до смерти он был избран в Правление Всероссийского Союза Писателей³, а 23-го дек. 1923 г. (накануне смерти) был единогласно выбран действительным членом Общества Любителей Российской Словесности при I Московском Государственном Университете, — старейшего литературного общества в России, вообще говоря, довольно скупо раздающего свои лавры.

Однако, этот успех вовсе не означает, что Неверову жилось хорошо. Материальные условия существования были очень тяжелы, так как писательский труд в настоящее время оплачи-

¹ Издан был лишь один 2-ой том, под заглавием „Лицо жизни“.

² Мотивы этого „ухода“ из „Кузницы“ группы писателей весьма характерны: „Кузница“ незадолго перед тем исключила ряд своих членов за непролетарскую идеологию, за крестьянский уклон. Неверов, вместе с группой поддерживавших его товарищей, заявил протест, настаивая на объединении пролетарских и крестьянских писателей. Не собрав большинства, он вышел из состава „Кузницы“ вместе со своими единомышленниками. О мотивах выхода им было помещено в „Правде“ письмо, подписанное всею отколовшейся группой писателей. См. Приложения, стр. 208.

³ Принятие этого избрания, конечно, с нашей точки зрения является „политической“ ошибкой Неверова, но надо сказать и то, что два года тому назад как-то не всеми еще осознавалось, что ВСП — есть союз буржуазно-попутнических писателей, который нельзя не противопоставлять ВАПП-у — Ассоциации пролетарских писателей.

вается еще слишком мизерными гонорарами. Правда, Неверов не голодал в буквальном смысле этого слова, отчасти потому, что ему удалось получить так наз. „академический паек“, но устроиться более или менее сносно, так, чтобы иметь полную возможность работать, ему долго не удавалось, да, пожалуй, и совсем не удалось.

Сначала он просто не мог найти квартиры, и приходилось жить в одной комнате с т. Яровым, что, конечно, было очень неудобно, несмотря на дружеские отношения обоих писателей. И только к лету 1923 г. ему удалось, совместно с т.т. Дороховым, Герасимовым и Кирилловым, заарендовать у МУНИ довольно поместительный и очень хороший особняк (Б. Полянка, 12) с крытой стеклянной галлереей и садом. На ремонт была получена даже ссуда. Особняк отремонтировали, и из него получился довольно недурной „дом писателей“, куда в сентябре Неверов и переселился. Но... создать себе подходящую обстановку для работы А. С-вич все-таки как-то не сумел. Например, у него не было даже отдельной комнаты для занятий, без чего, разумеется, никакой регулярный умственный труд немыслим. Повидимому, тут сказалось просто отсутствие культурных навыков и неумение устроить себе необходимую для работы обстановку, так как технические и материальные возможности для того были.

Настроение у А. С-ча вначале было очень бодрое.

„Из Москвы он мне часто писал и определенно звал, — вспоминает Н. А. Степной... — Письма его отличались юмором, он подзадоривал к продолжению творчества, а когда у меня сгорела квартира и в ней погибла первоначальная рукопись романа „Перевал“ — он написал такое письмо: „Так тебе и надо, и что ты там сидишь, ноги у тебя длинные — если не на поезде, так пешком дойдешь, прокормишь себя здесь, если не литературой, то лекциями. Здесь, брат, сейчас такая жизнь, что прямо, как мед пьешь. Мы ее, здешней литературной жизни, не отведали еще; если ты раньше и был, видел частичку, так это одна тысячная, а чтобы быть настоящим литератором, — необходимо быть в Москве — отсюда все, как с горы, видно“¹.

Возможность активно работать, возможность выйти на большую дорогу литературы, видимо, захватывала Неверова. Он

¹ „Наш Труд“, № 2, 1924, стр. 99. Письмо, повидимому, цитируется Н. А. Степным на память. Поэтому в некоторых местах я позволил себе изменить пунктуацию, в виду ее явного несоответствия смыслу.

развивает необычайно интенсивную деятельность, но, — надо сказать, — тут же перед ним встает грозная опасность — размениваться на мелочи. Кроме тех органов, в которых он печатает свои художественные произведения („Прожектор“, „Красная Нива“, „Молодая Гвардия“ и др.), он участвует в ряде маленьких журналов, помещая в них мелкие вещи — сатирические очерки и сценки, небольшие рассказы агитационного характера, детские рассказы, критические заметки и т. д. Он сотрудничает в „Крестьянке“, „Работнице“, „Делегатке“, „Красноармейце“, „Крокодиле“ (псевдонимы: *Зубок*, *Деревенский*, *Свойский*, *Насмешник*), и других подобных изданиях. Особенно интенсивна была его работа в „Крестьянке“, где он поместил несколько десятков рассказов и вел специальный отдел — „Литературные побегі“ за подписью — *Дядя Сережа*. На этой деятельности Неверова надо остановиться особо.

Уже говорилось выше, что одной из заветных его мыслей было стремление руководить начинающими писателями из народа. Отчасти Неверов делал это еще в Самаре; тем с большей энергией и любовью принялся он за это дело, как заведующий специальным отделом журнала, издаваемого Агитпропом ЦК РКП.

Неверов старается быть по отношению к начинающим авторам критиком-другом, руководителем и учителем, советует им не робеть, не смущаться первыми неудачами, больше учиться, устраивать на местах литературные кружки. Разбирая, напр., рассказ какого-нибудь Ив. Чурилина, он указывает на его недостатки (отсутствие цельности, ясной мысли), но отмечает и достоинства (образность языка):

„Пусть автор не смущается первой „неудачей“, — пишет он: — это не страшно. Надо больше и упорнее работать и глубже продумать свои недочеты, поучиться на своих ошибках“. („Крестьянка“, 1923, № 6, апр.).

Критикуя совершенно безграмотные стихи, Неверов указывает даже грамматические ошибки:

„Есть и неудачные строчки, — пишет он, разбирая стихотворение одного из безвестных поэтов, — например:

Нынечи жениться,
В моих *кариих* глазах.

„*Нынечи*“ и „*кариих*“ не говорят, правильно нужно: „*ныне*“, „*карих*“. (Там же; курсив Неверова).

Прозаикам он пытается втолковать, как надо начинать рассказ, разъясняет необходимость предварительного построения плана, приемы художественной зарисовки характера и т. д.

„Автор рассказа „Палашка“, присланного нам за подписью „Северянка“, пишет про Палашку: „Тем более не хватает элементарных понятий в науке работать, нет никакой возможности без таковых“, — читаем мы в одном из писем „Дяди Сережи“.

Если в науке нельзя работать без элементарных понятий, то, равным образом, нельзя и рассказы писать, не имея элементарных понятий о том, как они пишутся. Автор написал девять страниц, перечислил все случаи из Палашкиной жизни, где она родилась, где побывала за свою жизнь, что делала, и закончил тем, что „нельзя работать в науке без элементарных понятий“.

Перечисление отдельных случаев и фактов — это еще не есть рассказ. Надо было раскрыть внутреннюю сущность каждого случая, все это связать в одно общей мыслью, дать настроение и действие каждого случая в отдельности, то-есть заставить жить и действовать Палашку, как будто она не на бумаге проходит, а в самой жизни. У автора же получается голый пересказ о Палашке, и она в рассказе не живет и не действует, и не видно в ней живого человека. У всякого человека есть свой характер, свои особенности, свои действия и свои поступки, непохожие на действия и поступки других людей. Каждая Палашка имеет в жизни своих врагов и своих друзей, одни понимают ее, другие не понимают. Одни становятся на ее сторону, помогают ей, так или иначе сочувствуют, другие идут против нее, осуждают ее поступки, всячески мешают ее действиям, а отсюда начинается борьба между ними, а уж в этой борьбе каждый человек и показывает свой характер. У автора ничего этого нет, и мы опять повторяем: присланные им девять страниц нельзя назвать рассказом. В лучшем случае, это только материал, из которого опытный писатель может сделать настоящий рассказ“. („Крестьянка“, 1923, № 12, июль).

Поэтам он толкует о стихотворных размерах, приводит в пример стихи Пушкина и Никитина и тут же показывает невыдержанность элементарного ритма в строках, о которых идет речь. Советует больше читать Пушкина, Лермонтова, Никитина, Кольцова, Некрасова, а из современных — Герасимова, Кириллова, Александровского, Обрадовича, Казина.

Особенно настаивает Неверов на том, чтобы молодые авторы не торопились, отделявали и переделывали свои произведения.

„Пишущий эти строки, — говорит он, — тоже когда-то был деревенским парнем-самоучкой, писал очень много, писал каждый

день, а печатал не более одного-двух рассказов в год, а нынешняя молодёжь желает в один месяц напечатать по два рассказа". („Крестьянка“, 1923 г., № 11, июль).

К авторам разного культурного уровня он подходит с разными мерками.

„Стихотворения учительницы из Донбасса О. А. Мартыновой, — пишет он, напр., в том же №-ре, — технически сделаны хорошо, литературно она более грамотная и развитая, чем деревенские авторы. Строчки у нее гладкие, выдержанные по размеру, и с внешней, формальной стороны к ним придраться трудно, но по содержанию, по языку они во многом будут непонятны нашим читателям и чужды. Вот, напр., стихотворение „Грезы“:

„Опять весна, опять хаос.
Хаос весенних майских грез“.

Сознайтесь сами, тов. Мартынова, что „хаос грез“ нечто мудреное, требующее словаря, перевода на простой народный язык.

Далше из того же стихотворения:

„И в этой сказке бытовой,
Крестьянка, вижу образ твой,
Как мотылек, он легкий, нежный.
Порхает, вьется безмятежный“.

Извините нас за резкость, но здесь, вместо настоящей живой крестьянки, вы даете какой-то пряник, карамзинскую сентиментальность из „Бедной Лизы“. Образ трудовой крестьянки — совсем не мотылек безмятежный и нежный, а нечто покрепче и поглубже¹, ибо помните, как у Некрасова сказано про женщину:

„Доля ты русская, долюшка женская“ и т. д.

Второе стихотворение „Крестьянка“ не выдержано в своей простоте и отдает каким-то книжным преувеличением:

„Я крестьянка — владыка полей
И лесов. Я — владыка, и мне
Свои песни поет соловей.
Я живу, как во сне“.

Это ложно, напыщенно и не искренне. Где вы видите таких крестьянок, которые живут, как во сне, под пенье соловья?..

¹ Ср. то, что писал В. Г. Короленко Неверову; см. выше, стр. 45.

Стихотворение „Привет крестьянке от работницы“ очень растянуто, многословно и страдает теми же погрешностями книжного языка:

„Привет тебе, привет, крестьянка,
Не думай ты, что я дворянка
Из буржуазного бон-тона,
Я из Донбасса, с Краснодона“.

Не думаем, чтобы кто из крестьянок понял этот самый «бон-тон»...

Подобные замечания имеют огромную ценность. Не говоря уж о том, что они прекрасно характеризуют самого Неверова, всегда думавшего о читателе-крестьянине и рабочем, о том, чтобы произведения литературы были ему понятны и нужны, они могли бы оказаться далеко не бесполезными начинающим писателям вообще, а не только тем, кому были адресованы.

На-ряду с этими критическими замечаниями, Неверов регулярно помещал в „Крестьянке“ и беллетристические, или, точнее говоря, полубеллетристические - полуагитационные рассказы.

В них он с большой чуткостью, в простой, безыскусственной, и в то же время в конкретно-образной форме, отзывался на все волнующие деревню вопросы текущего момента.

Интересны уже самые темы этих агит-рассказов Неверова. В темной деревушке устраивают комитет „взаимной помощи“ по почину баб („Комитет“ — „Крестьянка“, 1922, № 1—2, июнь); приехавшая из города женщина организует в деревне ясли („Ясли“ — „Кр-ка“, 1922 г., № 3); разумная баба опрыскивает червяков на огороде из бутылки со снадобьем, которое достала у агронома, в то время как ее соседка пошла к попу молебен служить Георгию Победоносцу: „Он змея целого убил, а червяк ему — раз плюнуть“, — так поп ей объяснил („Про червяка“ — там же). В других рассказах Неверов затрагивает темы и о самогонке, и о продналоге, и о пользе чтения газет, и о значении червонца, и о сберегательных кассах, и о многом другом, волновавшем деревню.

Рассказы эти, не вплетая особых лавров в венок Неверова-художника, тем не менее, в своем роде, являются очень любопытными произведениями, в которых автор мастерски показывал, как надо подойти к деревенскому читателю, не впадая в ложный псевдо-народный стиль, которым часто грешат писатели, пытающиеся писать „для народа“.

Менее удачным надо признать участие Неверова в юмористическом журнале „Крокодил“. У Неверова была очень яркая юмористическая жилка, но почему-то он не сумел ее выявить в мелких рассказах и сценках в „Крокодиле“. Не удавался ли ему самый жанр маленького юмористического рассказа, или он просто смотрел на участие в „Крокодиле“, как на подсобный заработок и не отдавал этим миниатюркам должного внимания¹, — но большинство из них просто малоинтересны² и ... не смешны, несмотря на то, что темы брались достаточно злободневные. Напр., отводится много внимания антирелигиозной пропаганде³, самогонщикам⁴, деревенской некультурности⁵ и т. п. темам, но, несмотря на живость и актуальность тем, большинство миниатюр Неверова, как уже было сказано, порою скучноваты, не остроумны, — автор не выявил как раз тех качеств, которые нужны сотруднику сатирического журнала⁶.

Впрочем, в редких случаях исключения бывали, и Неверов давал довольно меткие и остроумные вещи. Такова, напр., замечательная сказочка „Пропавшая школа“ („Крокодил“, 1922, № 17) на близкую автору тему о народном образовании.

¹ По словам П. А. Неверовой — это именно так и было: А. С-вич писал эти рассказы для заработка, сразу на-бело на машинке, тогда как свои лучшие основные произведения он переделывал по несколько раз.

² Хотя всё же эти миниатюры заслуживают внимания.

³ Таковы, напр., рассказы: „Сокращение штатов“ („Крокодил“, 1923 г., № 4) — на небесах разговор о сокращении святых, решают, что надо оставить самых известных; „Поповская арифметика“ (там же, № 7) — попы считают, сколько у них в приходе дураков, которые не могут обходиться без венчания, отпевания и пр., и приходят к выводу, что дураков много; „Отжили угодники“ (там же, № 10) — церковь поворотили на клуб, „святые“ удивляются: их поснимали со стен, сложили на окно, собираются ими печки топить; „Отзвонили и с колокольни долой“ (там же, № 11) — мужики решили продать колокола и купить на вырученные деньги с.-хоз. орудий, колокола удивляются и т. д.

⁴ Напр., рассказ „Аэропланистики“ (там же, № 13) — решили в деревне летать, собрали денег на аэроплан, полететь не полетели, деньги же извели на самогон.

⁵ Напр., рассказ „Грамотники“ (там же, № 32) — ячейка в деревне раздала книжки — пошли все на цыгарки, или „Начитались, как меду напились“ (там же, № 47) — на аналогичный сюжет.

⁶ Справедливость требует, однако, отметить, что эта суровая оценка неверовских сенок из „Крокодила“ дана мною лишь сравнительно с другими произведениями Неверова; по сравнению же с произведениями других сотрудников „Крокодила“, вещи Неверова не кажутся слабыми.

„Жили-были мальчик да девочка. Мальчику было восемь лет, девочке девять. Захотелось им учиться. Вот мальчик говорит девочке:

— Айда, Дуня, учиться.

— Айда!

Надели сумочки, пошли. Шли-шли, пришли на то место, где школа стояла, а там нет ничего. Только чернильница лежит вверх дном. Поглядели мальчик с девочкой, сказали:

— На другое место перешла она“.

Но и на другом месте школы не нашли, а видят —

„На заборе петух крыльями хлопает, песни поет. Пониже петуха курица сидит, песни слушает. Вот мальчик говорит петуху:

— Петух, петух, где школа?

Хлопнул петух крыльями, рассердился.

— Какая тебе школа! Здесь представление показывают...

Пошел мальчику девятый год, девочке десятый. А потом и мальчику пошел десятый год, девочке — одиннадцатый“, —

а школы, так всё и не нашли. Увидали раз белку, спросили у нее, где школа.

„Махнула белка хвостом, рассердилась:

— Не мешайте мне! Здесь танцевальные курсы...

Пришли к медведю.

— Какая вам школа? Я здесь живу!

— А ты кто, дяденька?

Выворотил глаза медведь, рычит:

— Я лез-нах-рап-пред-вред-ком-вуз-муз-воз!

Испугались мальчик с девочкой, заплакали“.

Но толку не добились, а вскоре „пошел мальчику 12-ый год, а девочке 13-ый“ —

„Стала девочка жаловаться:

— Не найдем мы школу, Ваня, давай папиросами торговать.

А Ваня на девочку рассердился:

— Не хочу папиросами торговать, учиться хочу“.

Наконец, все-таки удалось детям разыскать школу. Слышат впотьмах, в дыму, читают ребятишки по складам:

„Дя-дя. Лу-на... Про-со. У нас в шко-ле хо-лод-но, печ-ка ху-да-я. Нет чер-нил. Дай-те нам бу-ма-ги и кни-жек. Наш у-чи-тель тре-тий год не по-лу-ча-ет жа-ло-ва-нья“.

Обрадовались ребятишки: „теперь мы маленько выучимся“, — но не тут-то было — вдруг учитель сказал:

„— Дети, больше я не могу заниматься, силы нет. Запирайте школу, идите домой“.

Сели с горя Ваня с Дуней на бревне в темном лесу, плачут.

„А на дереве высоком филин носом долбит:

Ученье — свет, неученье — тьма!“

Нельзя не признать этот рассказец своего рода сатирическим шедевром, и можно лишь пожалеть, что Неверов не нашёл достаточно времени и энергии, чтобы развить этот жанр¹.

На все эти мелкие рассказы А. С-вич смотрел, как на дело второстепенное, и самое участие в большом количестве журналов, а тем более редакционная работа (под конец жизни он стал работать еще и в редакции „Крестьянской Газеты“) все сильнее начинали его тяготить. Он сам чувствовал, что размещается на мелочи. Его все более и более влекло к крупным, монументальным вещам. Он спешно дописывает роман „Гуси-лебеди“ и принимается за большую вещь (как он определял — листов на 15) — за „Повесть о бабах“, из которой успел написать лишь несколько глав. В последние недели перед смертью он не раз говорил, что начинает тяготиться редакционной работой, мечтает ее бросить и засесть за чисто литературный труд. Перед Неверовым вставали новые темы; его захватывал пафос развертывающегося строительства. Он думал о создании героической эпопеи в полубылинном стиле и говорил об этом незадолго перед смертью друзьям.

Чувствуя некоторый отрыв от крестьянских масс, неизбежный в связи с безвыездным пребыванием в Москве, Неверов в конце лета 1923 г. предпринимает поездку на родину со специальной целью присмотреться к новой деревне, в частности — ознакомиться с работой женотделов на местах и собрать материалы для воссоздания типов новых женщин советской деревни, — свою „Повесть о бабах“ он хотел, как сказано, развернуть широко. В качестве сотрудника „Крестьянки“, А. С-вич получает официальное задание, с которым и выезжает в Мелекесский

¹ Любопытно, что это первый рассказ Неверова в „Крокодиле“. Повидимому, для первого дебюта он дал вещичку, над которой серьезно поработал: в дальнейшем же, в спешке, заваленный всякими другими делами, он уделял „Крокодилу“ мало внимания, наскоро набрасывая то, что приходило в голову, без тщательного обдумывания и отделки, лишь бы напечатали. Из прочих более или менее остроумных рассказов в „Крокодиле“ можно отметить оригинальную сатиру, написанную в былинном стиле — „Скуловороты московские“ („Крокодил“, 23, № 19) — на тему о московских кулачных бойцах и нек. др.

уезд¹. Поездка длилась около месяца, и особо ценных результатов не дала, хотя кое-какие наблюдения Неверов все же сделал².

Нельзя не упомянуть также о Неверове, как литературном критике. Выше указывалось, что еще в Самаре он выступил с целым рядом серьезных критических статей и рецензий. К сожалению, самарские издания 1918 — 21 г.г. далеко не все имеются в библиотеке им. В. И. Ленина (быв. Румянцовского музея) в Москве, и мне не удалось в достаточной мере ознакомиться с этими ранними критическими статьями А. С-ча. В последнее время он выступал, как критик-обозреватель, в четко поставившем вопрос о партийной политике в литературе журнале „На посту“, где вел — под псевдонимом *Деревенский* — специальный отдел „*Деревня в современной литературе*“. Три статьи, которые он успел написать, посвящены разбору произведений Б. Пильняка, А. Яковлева, Ф. Гладкова, П. Ярового, М. Волкова и П. Низового. К своей задаче критика А. С-вич подошел с большой серьезностью и ясностью мысли. Его статьи могли бы сделать честь любому заправскому критику-марксисту. По мнению Неверова, писатель должен дать живое, простое, правдивое и в то же время проникнутое революционным духом изображение деревни, дать воспроизведение —

„той горячей революционной волны, которая столкнула в деревне отцов и сыновей, вывернула наизнанку все нутро деревенской жизни, одних опрокинула вниз, а других подняла наверх“, —

как он говорил еще в 1921 г. в самарском журнале „Понизовье“ в рецензии на книгу М. Сивачова „Жолтый дьявол“³.

¹ Перед поездкой Неверов писал брату (24 июля 1923): „В начале августа думаю выехать я. Сначала поеду в Новиковку, похожу там по селам, понаблюдаю, погляжу на мужиков, а потом, вероятно, не раньше конца августа, заеду в Самару. Предполагаю ехать так: сначала от Москвы до Нижнего по жел. дороге, а от Нижнего до Симбирска по Волге. От Симбирска уже по жел. дороге до Чердаклов, а там! возможно пешком по селам вплоть до Новиковки, если удобно будет пешее хождение“... Письма Неверова к брату очень интересны и много дают для характеристики последних месяцев его жизни; к сожалению, из-за недостатка места, я лишен возможности их обстоятельно цитировать.

² Результатом поездки явилась повесть из быта советского учительства „Шкрабы“ (см. ниже, стр. 162—163) и три ненапечатанные статьи: „У сельских учителей“ (См. Д о б а в л., стр. 203—206), „Дела культурные“ и „В коммуне „Роза““ (см. прилож. к VI т. Собр. Соч.

³ „Понизовье“, 1921, янв.—март, № 1—3, стр. 37.

Неверов не может принять того описания деревни, которое дает Бор. Пильняк; потому что он, подобно герою одного из своих произведений —

„живет в полуверсте от села, в полуверсте от живых настоящих людей, в лесах семнадцатого века, со старыми иконами, былинами, обрядницами, и не видит России современной, сегодняшней“, и потому — „не усмотрел величественного и, вместо живой современной деревни, дал нам деревню революционного лубка, деревню окарикатуренную“¹.

Потому-то Неверову гораздо ближе пильняковских картин сцены, рисуемые, напр., Ф. Гладковым, П. Яровым и другими писателями, смотрящими на мир „глазами“ сознательного крестьянина и рабочего, а не „глазами Пильняка“.

Неверов, к сожалению, не успел развить своих способностей критика. Но есть все основания полагать, что и в этой области он смог бы дать немало ценного, тем более, что он „чутьем“ схватывал многое такое, что не всегда ясно даже критикам-специалистам².

Возвратившись из поездки в середине сентября 1923 г., Неверов застаёт свою семью уже перебравшейся на новую квартиру, в „дом писателей“ на Б. Полянке, где ему пришлось прожить всего два с половиной месяца.

Последние месяцы протекли в необычайно лихорадочной работе и в надеждах на возможность создания более сносных условий для творчества³. Так продолжалось до дня, когда внезапно наступил роковой конец, которого никто не ожидал и менее всех, кажется, сам А. С-вич, хотя он и знал, что с сердцем у него неблагополучно, и не раз говорил о своей возможности близкой смерти.

24-го декабря 1923 г., в день своей кончины, он много бегал по литературным делам, а часа в 3—4 зашёл к товарищам-писателям в „Кузницу“ и приглашал их к себе „на завтра“, когда собирался праздновать свое рождение. Часов в 7 веч. Неверов пришёл домой, будучи в весьма веселом и бодром настроении.

¹ „На посту“, 1923, № 1, стр. 154—158; статья „Глазами Пильняка“.

² См. Добавления, стр. 202—203.

³ Еще до поездки Неверов писал брату (то же письмо): „Я страшно устал, и мне необходимо отдохнуть, как следует. Заработался я. Работать приходится очень много, ибо жить в Москве становится страшно дорого, а ставки литературные невысокие и не успеваешь хлопать на машинке...“

Пообедав, он вдруг почувствовал, что задыхается, — сделался сердечный припадок. В несколько минут был приглашен живущий по близости доктор, который и подал нужную помощь. А. С-чу стало лучше, и доктор ушел. Неверов облегченно сказал: „Наконец-то я вздохнул, как следует“. Но, хотя облегчение и наступило, А. С-вич понял, что положение серьезно. Подозвав сына, он сказал: „Если я умру, то ты возьми себе машинку“¹, а жене сказал: „Как бы мне в ночь не помереть“. Через несколько минут последовал второй припадок, и около 8 ч. А. С-вич скончался от паралича сердца...².

Так как на другой день был праздник, то те, кто не принадлежал к близким друзья покойного, узнали о его смерти лишь 27-го декабря, из газетного объявления. Похороны состоялись только на шестой день, в субботу 29-го декабря, на Ваганьковском кладбище. Проводить тело А. С-ча собрались многочисленные представители литературных организаций. На могиле был произнесен ряд речей, при чем особенно трогательно прозвучало слово одного красноармейца, который сказал, с каким восторгом читали они „Андрона-непутевого“, „и вот,—закончил товарищ,—твой Андрон-непутевый в моем лице пришел к твоей могиле отдать тебе последний поклон“.

Вечером состоялось печальное собрание кружка „Никитинские субботники“, секретарем которого он состоял, посвященное воспоминаниям об А. С-че, при чем ряд поэтов прочли написанные в память Неверова стихотворения. Особенно сильно прозвучало стихотворение поэта Э. Е. Левонтина „Фюнебралиа“³.

¹ Писчую, на которой Неверов писал все свои произведения в последние годы.

² Описание последних минут А. С-ча см. в воспоминаниях П. Н. Дорохова — сборник „А. С. Неверов“, М. 1924, стр. 35—41. См. Д о б а в л., стр. 203.

³ Стихотворение это не попало в свое время в печать. Пользуясь любезным разрешением автора, привожу его здесь:

Funebralia.

Памяти А. С. Неверова.

Время. В дорогу. Я в красном гробу
И до иных берегов догребу.

В гроб, как в челнок—и безустально вилась,
В неутолимую черную Явь.

Мертвой рукою правило держу,
Мертвыми взорами путь мой слежу.

У переправы сутулый Харон
Слушает быль огнеликих времен.

В. Т. Кириллов, живший с Неверовым через стенку, сказал, что хотел, но не смог написать стихотворения...¹ Прекрасное стихотворение прочла также В. М. Инбер.

Через несколько дней ряд литературных обществ устроил несколько публичных платных вечеров в память Неверова, с целью оказать вспомоществование оставшейся без всяких средств семье покойного. Среди товарищей-писателей была организована в ее пользу подписка. Через некоторый срок вдова Неверова получила государственную пенсию.

Смерть Неверова, вырвавшая из рядов молодой пролетарской литературы одного из самых даровитых и оригинальных ее представителей, должна прозвучать как грозное *мементо*, грозное *напоминание и предостережение* всем и каждому.

Мертвый мой голос неистов и груб,
В нем отзвучанья восстаний и труб...
Взоры ль завесить, уста ли замкнуть,
Если люблю я Земли моей жуть,
Если в Замирных Пространствах мой гнев
Правит ладью, Смерть одолев,—
Если на тридцать восьмую весну
Я — черноземьем богов захлестну?
В гроб, как в челнок, — значит, так суждено,
Тридцать ли семь или сто — все равно:
Врезана в разум земная строка,
Впахана в память и влита в века,
Час мне назначен — и в красном гробу
Я до иных берегов догребу“.

Написанное в традиционно-мифологических тонах, стихотворение очень стилизовано по настроению и, несмотря на некоторую свою изысканность, хорошо передает мысль о том, что со смертью реального, живого Александра Сергеевича Неверова, — он, т. е. его творения, то, что действительно вечно, — переходит в „иное бытие“ — бытие историко-литературного факта, который „впахан в память и влит в века“.

¹ Потом он написал два стихотворения памяти Неверова, одно из них, особо трогательное, начинается словами: „Не стучит машинка за стеной“ (см. сб. „А. С. Неверов“).

Эта смерть лишний раз показала, как необеспечена и неустойчива у нас судьба писателя, даже признанного. Нет сомнения, что тяжелые условия жизни, необходимость брать массу ненужной и мешающей основному делу работы в значительной степени надорвали раньше времени организм А. С-ча и ускорили его смерть. Но, к сожалению, нельзя снять известной (и немалой) доли ответственности и с него самого¹. У него было больное сердце, и он это знал. Но он не обращал на свою болезнь должного внимания, даже боялся советоваться с врачами, боялся, так как ожидал, что ему скажут нечто страшное. Хуже всего—то, что А. С-вич обращался с своим организмом так, как интеллигентному работнику обращаться не подобает. Не говоря уже о постоянном переутомлении, о бессонных ночах, о непосильной работе,—что вызывалось причинами, лежащими, в значительной степени, вне воли А. С-ча,—он, напр., не переставал ни пить (правда — лишь изредка, „с приятелями“), ни курить, тогда как для больного сердца отравление алкоголем и табачным никотином должно быть особенно вредно².

¹ Говорю это и дальнейшее, конечно, не с целью упрекнуть Неверова (это было бы бессмысленно), а с целью заставить многих здравствующих писателей кое над чем серьезно призадуматься. Н. Ф.

² Сохранился один очень любопытный документ, написанный Неверовым накануне смерти. За несколько дней перед тем он получил датированную 18-м дек. анкету редакции „Журналиста“ следующего содержания:

„В связи с судом над 4-мя поэтами, редакция просит высказать свое мнение по существу предлагаемых вопросов: 1) Существует ли „Вена“ в современной литературе? 2) Если да, что питает в существующих условиях такие нравы? 3) Как бороться с нездоровыми явлениями в литературе?“ Срок сдачи анкеты — 23 декабря с. г.

Для читателей, не знающих позорного инцидента, о котором в этой анкете идет речь, поясню суть дела. Четыре „крестьянских“ поэта: С. Есенин, П. Орешин, С. Клычков и Ганин устроили в пивной пьяный дебош, после чего появилась в газетах заметка т. Л. Сосновского, который обвинял названных поэтов в черносотенных и антисемитических выходках и взывал к суду общественного мнения. 10-го дек. 1923 г. состоялся товарищеский суд в составе тов. Новицкого, Керженцева, Арошева и др., который отнесся к обвиняемым в общем довольно мягко, но тем не менее признал, что поведение поэтов в пивной „носило характер антиобщественного дебоша“, что „на улице и в милиции поэты... будучи в состоянии опьянения, позволяли себе выходки антисемитического характера“, и постановил: „объявить поэтам Есенину, Орешину, Клычкову и Ганину общественное порицание“. („Правда“, № от 16 дек. 1923 г.).

Всегда пунктуальный, А. С-вич 23-го декабря, накануне своей смерти, написал ответ, который послать не успел. Ответ этот во многом очень характерен.

Своевременная медицинская помощь, прекращение нелепого и преступного самоотравления, поездка на курорт, — что вовсе уж не было абсолютно невозможно (хотя бы через ЦЕКУБУ), — во всяком случае, могли бы сохранить А. С-чу несколько лет жизни, если не восстановить совсем его здоровье. А в 2—3 года даже—чего бы только он не создал! — так мощно развивался его талант как раз в последнее время, и так нелепо бессмысленно было оборвано это развитие!..

Неверов считает, что обвинения, предъявленные 4-м поэтам, слишком суровы (!), и пишет: „В писательской среде есть случаи выпивок, как общее явление НЭП-а, выпивают все (?!), шила в мешке не утаишь, но выпивки эти совершенно не носят того характера, чтобы говорить по ним о „нездоровых явлениях в литературе“. Вызываются они не общественной испорченностью того или иного писателя, а в большинстве случаев скорее бедностью (разрядка Неверова. Н. Ф.) его жизни и просто нашей русской особенностью „посидеть на людях“, „завязать горе веревочкой“. Ведь если пройти по писательским комнаткам хотя бы Москвы, можно убедиться, до какой степени тяжела в них, так называемая домашняя, семейная обстановка, где в большинстве случаев писателю и поэту приходится работать тогда, когда все „улягутся“...“ (См. выше, стр. 77 и 84).

А. С-вич, повидимому, и не подозревал, что так живут далеко не все писатели, а лишь лица, недостаточно культурные, не умеющие создать себе интеллигентную обстановку, и он готов даже оправдывать... выпивки, отрицая самую возможность говорить о „нездоровых явлениях в литературе“...! И это в то время, когда мы имеем поистине потрясающие факты: из известных пролетарских и крестьянских поэтов одни совершенно спились, другие часто появляются даже на литературных собраниях в пьяном виде, третьи смертным боем бьют своих жон, о чем известно их сотоварищам и т. д. О таких позорнейших явлениях надо кричать, надо умолять этих, поддавшихся разлагающим влияниям изнанки НЭП-а и мещанской идеологии товарищей: „Одумайтесь! Что вы делаете? Не губите своего таланта, не позорьте того класса, из рядов которого вы вышли! Неужели вы хотите разделить горькую судьбу некоторых ваших собратьев по перу—разночинцев, рванувшихся к культуре в 60-х г.г. прошлого столетия и оказавшихся недостойными ее?..“ (Имею в виду раннюю гибель от неумения жить культурно, в частности—от пьянства, некоторых писателей - шестидесятников: Н. Успенского, Помяловского и др.). А. С-вич и не подозревал, видно, что пьянствовать может или больной или разложившийся нравственно человек, и что всякий истинно-интеллигентный работник найдет более культурный способ уйти от тяжелой домашней обстановки, если уж действительно нельзя ее улучшить, и от бедности, чем „посидеть на людях“, „завязать горе веревочкой“, т.-е., попросту говоря, позорно пьянствовать!

III

Главные мотивы творчества Неверова.

1. Деревня и революция.

Крестьянин по происхождению, проживший до 30-летнего возраста почти безвыездно в деревне, Неверов был по-преимуществу бытописателем крестьянства. За самыми ничтожными исключениями, герои почти всех его произведений — крестьяне, а место действия — деревня¹. Самое же главное, — что Неверов смотрит на мир глазами крестьянина, с его точки зрения оценивает события и лиц других сословий, его нуждами болеет, его психику всегда понимает, даже если и не сочувствует ей. И к революции Неверов подошел, как сознательный крестьянин, воспринял и принял ее, и стал ей служить, как представитель лучшей революционной части нашего крестьянства, идущей совместно с пролетариатом.

Мужицкая скорбь о земле, о малоземельи, мужицкая стихийная озлобленность против непосредственных классовых врагов крестьянства — бар-помещиков — составляет основной пафос уже первых произведений Неверова, давая ему, как человеку более культурному, чем вся остальная крестьянская масса, повод к невеселым думам о тяжелой мужицкой доле, о несправедливости, угнетенности, о беспросветной темноте русской деревни царских времен.

„Каторга, а не жисть, — говорят мужики в первом попавшем в печать рассказе Неверова „Горе залили“ (1906)... — Земли мало, да и та кругом в барской... Прижали нас, как ужа вилами...“

В другом из ранних своих рассказов — „Музыка“ (1909) Неверов с довольно большой для того времени смелостью и прямотой затронул вопрос о классовой ненависти крестьянства к помещикам. В деревне — барская усадьба. Из дома постоянно слышится музыка — играет на пьянино

¹ Кроме крестьян, он выводит в нескольких рассказах сельских учителей и представителей духовенства, т.е. лиц тех сословий, к одному из которых он сам принадлежал, с другим же — постоянно сталкивался. Лишь в единичных рассказах выводятся интеллигенты (писатели), служащие и рабочие.

„барышня“ Клавденька, приехавшая в деревню на каникулы. Музыка хорошая, грустная, и барышня добрая. Но... слушают эту музыку на деревне, и совсем не радостные чувства и мысли возбуждает она там. Слушает ее ночной сторож Парфен.

„Ходит он вдоль амбаров, просматривает замки на дверях, угрюмо ворочает скулами, надвигая шапку на глаза, и... бранит... всех господ, которых знает и не знает...”

Словно молотком ударили ему по вытянутой шее. Вытопилась в сердце у него глухая печаль, разгорелась звериная злоба. Подняла она Парфена на огромных крыльях, понесла ураганом, сделала грозным и сильным...

Другая музыка тешила разгневанное сердце, резала кожу, поднимала выше, несла вперед. В щепки разметет Парфен барскую жизнь, кровью вымоет землю...”

И Парфен поджигает барскую усадьбу с ее ненавистной музыкой...

Рассказ этот необычайно любопытен, как едва ли не первая попытка отразить в нашей литературе крестьянское движение (или „аграрные беспорядки“ — по терминологии тогдашней либерально-буржуазной печати) не как их переживали помещики (об этом много писалось), а с точки зрения крестьянина.

В рассказе „На земле“ Неверов пытается затронуть острую тогда тему об усмирении „беспорядков“. Не выдержали мужики и —

„ранним утром весной собрались около барских амбаров. Подошли к конторе, сняли шапки.

— Хлеба!

Управляющий расхохотался.

Мужики сняли замки у амбаров.

А на другой день приехали „начальники“. Десять телег насажали мужиков...”

Повезли их в город. Впрочем, доехали не все. Федькин отец дорогой помер под прикладом солдатской винтовки...

Но не одни только помещики (и исполняющее их волю начальство) давили крестьян; доставалось им и от своих же „братьев“ — кулаков. Этот мотив Неверов также затронул в своих ранних рассказах.

Во время засухи, перед лицом наступающего голода, деревенская беднота знает одно только средство — „молебствовать“, а кулаки не дремлют:

„Богатые мужики потревожили копны на гумнах, разогнали мышей, разом подняли цены на хлеб. Перепуганная нищета стала нырять из стороны в сторону, предлагая себя в косцы и в жнецы и на все дела, на какие только вздумается богатому человеку употребить выносливые руки...“

Один из таких бедняков, Василий Сафронов, чтобы достать хоть пуд муки, отправляется закладывать последний тулуп, но ни лавочник Федор, ни церковный староста, ни другие кулаки не дали и 30 фунтов за дубленую шубу. С отчаянием идет Василий Сафронов домой.

„В сердце поднималось озлобление. И если бы можно было раздавить зареченских богачей, как давят толстых, наевшихся вшей, он бы сделал это с большим удовольствием...“ („Последнее средство“; сборник „Серые дни“).¹

Большого Неверов не мог сказать в те годы, да и сама серая, изо дня в день однообразная крестьянская жизнь не давала новых тем.

Новые темы и новое содержание дала Неверову война и революция. Уже в 1918 г., как было сказано, он задумывает и начинает писать свое крупнейшее произведение (неудачно названное „романом“) — „Гуси-лебеди“¹, намереваясь изобразить тот колоссальный сдвиг, который пережила деревня, то ее расслоение, которое четко обозначилось в эпоху гражданской войны. Но и незаконченные — „Гуси-лебеди“ — все же произведение во многом замечательное. Главное достоинство романа в том, что Неверов с большим чутьем и мастерством сумел изобразить в нем войну и революцию так, как она была воспринята в деревне, а также классовое расслоение крестьянства.

Война пришла на русскую деревню, как что-то неожиданное и нежданное. Вырвала самых крепких мужиков, самых лучших работников. Вернула их в деревню безногими и безрукими калекками. Произошло что-то безумное и для крестьянина совершенно непонятное:

¹ „Гуси-лебеди“ остались незаконченными — не дописана последняя глава 2-ой части романа; у Неверова была мысль написать и 3-ю часть. См. Добавления, стр. 203.

„Жизнь вывалилась из рук неожиданно. Заливаново заплакало несмолкаемым плачем... А на сердце у каждого лежала одна печаль:

— Война!

Как ни отворачивались от нее, как ни отходили в сторону, кровавое лицо войны выглядывало отовсюду. Каждый ждал своей очереди, чтобы отправиться в дальний путь, носил одну неотвязную думу:

— Возьмут!“ („Гуси-лебеди“, ч. I, гл. 12).

А те, кого уже „взяли“, — „мирно сидели по окопам, выворачивая вшивые рубашки, сушились около жарничков, говорили о женах, о детях, жалели недомогающих лошадей из обоза. С ревом бросались вперед, с ненавистью убивали немецких, австрийских солдат — безвольные, кому-то подчиненные. Жгли целые села, деревни. Выгоняли плачущих баб с ребятишками, пристреливали убегающих, разбивали прикладами головы тех, кто попался под руку. Жили люди в этом ужасе по несколько месяцев, уничтожали друг друга, как стравленные собаки. Кто стравил — не могли понять. Были тут и границы государств, и русский Николай с немецким Вильгельмом, и культура, и религия, и патриотические чувства.

Целый клубок человеческой лжи, опутавшей разум и сердце“.

(Там же).

В этих строках Неверов с поистине поразительным даром синтеза, строго говоря, дает картину всей войны, как ее переживала солдатская масса. В другом месте он с неменьшим мастерством подходит к войне через психику одного из миллионов тех, кого гнали в качестве пушечного мяса защитники „отечества“:

„Жил он на птичьих правах в двухоконной избе. Осенью ее проливало дождями, зимой продувало ветрами, заносило сугробами. Сидел МIRON с ребятишками, как хорек в норе, выглядывая в подмороженные окна. Мужик он здоровый, выносливый, и прозвали его за эту выносливость быком. Но как ни упирался, как ни натужился, чтобы вытащить себя из нужды, — не вытащил.

Когда потребовались здоровые мужики бить немецких и австрийских мужиков, МIRONA взяли на войну. Много он их перебил: и пулями, и штыком, и прикладом. Поднятый среди ночи, озлобленно стискивал прозябшие губы. Озверевший от холода, грязи, от невыносимой обиды, таящейся в сердце, с ревом бросался вперед, кубарем падал в окопы, исцарапанный висел на колючей проволоке, запутавшись ногами. Без милости,

без милосердия разбивал прикладом головы немецких, австрийских солдат.

За что — этого не знал, а подумать, поговорить об этом некогда было, не с кем. Вокруг толкались такие же озлобленные мужики, согнанные из разных деревень. Одно надоевшее слово слышали все:

— Враги!

... На четвертый год положили в лазарет. Пока лежал, стал думать. Увидел настоящих врагов, посылавших на немецких, австрийских солдат. Трехлетняя война дала гниющую рану в спине да бронзовую медаль „за отличия“. Разглядывая награду, Мирон обиженно крутил головой:

— Эх, дурак, дурак! Отличился...“ („По-новому“).

Чтобы понять это, русскому крестьянину надо было пройти страшную школу трехлетней кровавой бойни. Только после такого испытания „огнем и железом“ стал понимать русский мужик, что „пора кончать“, но как кончить — не знал, пока не пришла революция. И пришла она на деревню так же, как и война, неожиданно-негаданно.

„Это была не судьба, созданная невежеством, а гневная народная воля“ („Красноармеец Терехин“).

Летом 17-го года старый порядок еще кое-как держался. Мужиков всячески упрашивали—

„жить по-божьи, по совести, никого не трогать, никого не обижать.

— Не прыгайте сразу. Все ваше будет. Нам ничего не надо.

— Присудит закон — возьмете...“ („Гуси-лебеди“, ч. I, гл. 7)— говорили всевозможные „демократические“ агитаторы.

„— Старики! семь раз отмерьте. Серьезное дело. Мы вот грамотные, книжки разные читаем, и то, скажу про себя, — ораторствовал дьякон, работавший секретарем в продовольственном комитете, — ничего не понимаю в политике. Сущность никак не уловлю. Вообще, как говорится. В Англии двести лет занимаются этой самой политикой, парламенты разные, конституции, а у нас в диковинку подвалила. Лучше повремените, старики, там видно будет, никуда не уйдет. Теперь уж капут буржуазному капиталу“.

Но вот пришел Октябрь, хлынули „вешние воды, прорывающие плотины“. Осуществлены были великие слова о власти советов,

о подлинной власти рабочих и крестьян, изданы декреты о мире, о земле. „Десять дней“, десять первых дней „потрясли мир“, но русская деревня не скоро могла разобраться в том, что произошло, и понять, что надо делать. Еще летом голова была забита:

„В ушах звенели новые пугающие слова: „Социализация“, „Национализация“, „Социализм“, „Капитализм“, „Учредительное Собрание“.

— Вот Сибирь-то! Эдак и от слободы откажешься, ежели все в голову забрать. Истинный господь. Какая у нас голова? Решето. Наскрозь течет.

Особенно мучили партии. Остановятся на одной — текут слухи про другую. Эта хороша, эта еще лучше.

— Да сколько их? Али полсотни?..“

Однако остановиться на какой-нибудь надо было — подходили выборы в учредительное собрание.

„— Ну, так как же? Чагринские стоят за социал-р-юц-нерную. Думайте.

— Чего думать! — сердился старик Лизунов. — Чагринские в эту... как ее... и мы туда.

— Так и залезешь по уши в воду. Чего понимаю?

Несколько дней партия социалистов-революционеров стояла над Заливановым, как вешняя тучка над обожженными полями. На нее смотрели с любовью, с надеждой, жались к ней, как молодые цыплята к опытной наседке“.

Но не долго продолжалась такая уверенность:

„... солдат Сергунька прислал письмо с фронта. Строго-на-строго наказал землякам, чтобы они не держались за партию социалистов-революционеров: стакнулась она с помещиками и хочет воевать еще четыре года. Сам Сергунька и Сергунькина рота стоят за большевиков. Но что за большевики, какие большевики, ничего не известно“.

Вскоре приехал с фронта солдат Федякин „и в первый же вечер разрубил все сомненья, опутавшие мужиков“. Главный козырь, которым он агитировал за большевиков, был — мир.

„Слово это ловили, подхватывали, готовы были поднять на руки, если бы можно было поднять его. Оно отражалось в глазах, чувствовалось в улыбках, звенело в приподнятых голосах

Трехлетняя война, выпившая лучшую кровь, замучила страхом, слезами, отравила жизнь хромыми, безрукими. Каждому хотелось прижаться к той партии, которая несет на своем знамени скорый, немедленный — мир.

И мужики стали „большевиками“. Однако не все.

„Никанор со своей компанией сеял другие семена. Одни говорили, что большевики станут снимать колокола с церквей, жить с чужими бабами, как со своими. Другие уверяли: большевики всех угонят на фабрики, на заводы, сделают мужиков „пролетариями“. Перекатов, читавший газеты, рассказывал:

— Большевиков в России нет. Есть только мадьяры с китайцами, подкупленные немцами. Нарядились в русскую одежду, хотят погубить русскую веру“. (Там же).

„Мирная“ деревенская жизнь была нарушена. Одни стали против других, бедные против богатых. Кулаки пытаются прикинуться такими же „трудящимися“, чтобы не восстанавливать против себя бедноту.

„— Разве богатые мужики не работают от зари до зари? Разве у них не такие же мозоли на руках?“ — спрашивал молодой Павел Перекатов. (Там же, ч. I, гл. 9).

В ответ ему —

„Федякин неожиданно поднялся, собирая морщинки на лбу взглянул на Павла потемневшими глазами.

— Ты погоди мозоли считать! Вот сюжет: у твоего тятяшки мозоли, и у моего тятяшки мозоли. Твой тятяшка работал, и мой тятяшка работал. Твой тятяшка наковырял пятистенную избу с полисадником во всю улицу, а мой, дай бог ему здоровья, до сих пор не вылезет из свининой гайнушки. Это как понимать?“

Таким образом жизнь учила крестьян „марксизму“, на деле показывала, что такое „прибавочная стоимость“, чужой украденный труд.

А события шли своим чередом. Докатилась и до деревни Заливанова советская волна.

„В новом волостном учреждении—в Совете рабочих, солдатских и батрацких депутатов засели беспартошники, которые

недавно стояли еще перед Алексеем Ильичом (Перекатовым) без шапок, повели дело по-своему. Перекатов посмеивался.

— Пусть побалуются.

Но баловство заходило далеко. Добрались до амбаров, наполненных хлебом, до лошадей с коровами, до всего, чем хороша была перекатовская жизнь". (Там же).

Деревня вступила в полосу гражданской войны.

Неверов был ее свидетелем в одной из наиболее острых и организованных форм, так как жил в полосе чехо-словацкой оккупации — в Самарской губернии. Он и рисует эпизоды гражданской войны так, как их восприняла деревня — самарская деревня.

Не мог долго взять в толк выбитый из колеи рядовой самарский мужик, кто его друзья и кто враги, с удивлением узнавал о появлении каких-то чехов, выступавших в роли защитников попорченной „свободы“.

„— Кто они — православные?

— Какие тебе православные. Чеки!

— Какие чеки? Турки, что ли?

— А, бестолковый. Говорят тебе — чеки. Из нерусской земли.

— Зачем они идут?

— Пряники делать... Насыпят штук двадцать горячих, тогда узнаешь...“ („Гуси-лебеди“, ч. I, гл. 18).

Лучше всего поняли мужики, что нарушен их обычный уклад жизни, когда они в нужное время могли пахать и косить или убирать хлеб, и никто им в этом не мешал¹.

На все разговоры о том, что „родина в опасности, а потому воевать беспрекословно“, был один ответ: — „К чорту! Пускай сами дерутся“. („Гуси-лебеди“, ч. II, гл. 1).

Но вот появились и „спасители“ — чехи, сами не вполне ясно представляющие, что собственно и зачем им надо делать.

¹ „Тихую мне надо жизнь,—говорит дед Поликарп в пьеске „Добровольцы“.— Когда сроду в нашей деревне война происходила?... А теперь каждую ночь не спишь. То и дело бухают. Это, говорят, красные идут на белых. Успнешь маленько — опять бухают. Это, говорят, белые идут на красных. Разбери вот тут с нашей головой“...

Некоторые крестьяне, вроде Сурова или дедушки Лизунова, у которого было четыре лошади, — и он очень боялся, как бы большевики не отобрали у него трех, — приняли чехов сначала радостно:

„— Нам, милый человек, ничего не жалко, только защищайте нас от разных непорядков“. („Гуси-лебеди“, ч. II, гл. 2).

Но те, у которых не было четырех лошадей и полных хлебом амбаров, отнеслись к приходу чехов по-иному; часть мужиков, во главе с „настоящим большевиком“ Федякиным, бежала, скрываясь в оврагах и лесах, другие стихийно почувствовали в чехах врагов, и в первую же ночь двое были убиты. Одного задушила вдова-солдатка Наталья, и как-то —

„неожиданно, даже не думала об этом...“

Легла Наталья на солому играющей кошкой, изменившимся голосом сказала:

— Ложись со мной, здесь никого нет!

Упал чех в теплую убаюкивающую постель, насытился голодным телом, сладко зажмурил глаза, опьяненный...

А когда заснул он, вцепилась она в горло обеими руками, напружинилась вся, ожелезилась. Увидела темный испуганный глаз, кончик высунутого языка, бессвязно подумала:

— Вот тебе и война“. (Там же, ч. II, гл. 5).

„Вышел Ледунец из переулка кошачьими шагами, радостно зашептал:

— Айда, скорее, Наталья Пучкова чеха задушила.

— Где?

— Там, на гумне.

— А этих как?

— Гулять будут — успеем...“ (Там же, гл. 4).

Придя на гумно, Синьков с Ледунцом только спросили Наталью:

„— Как догадалась?

— Разве я знаю, как!

— Одна?

— Одна“. (Там же, гл. 5).

Задушенного же чеха, разув и раздев, столкнули в картофельную яму.

А офицера Братко убили дубинкой Синьков с Ледунцом, когда тот пытался спастись через окно от учительницы Марьи

Кондратьевны, которая как-то безвольно, стихийно отдалась ему ночью.

Некоторые мужики из „большевиков“ начали, однако, колебаться. Кондратий Струкачов, бежавший было с Федякиным, все думал о брошенной избе, о жене, о ребятах, о том, что „пахать завтра поедут“.

„— Разве я большевик? Какой я большевик? Так, пого- рячился маленько... От нечего делать в башку залезла какая-то мысль...“ („Гуси-лебеди“, ч. II, гл. 7).

Неловко было бросить товарищей, но... своя рубашка ближе к телу. Крадучись, пробрался Кондратий домой.

„— Эх, дурак, дурак, бить тебя некому! Разве ты большевик, — связался с такими делами?..“

Сбросил Кондратий гнетущую тяжесть, чвокнул, крутнул головой. Слава богу, теперь он дома. Вот и печка стоит, и лохань около печки, над лоханью глиняный умывальник с отшибленным носом. Вон кошка за ухом чешет, тараканы ползут по стене, и ребята на полу под дерюгой спят. Будто никогда не были чехи в этих краях, никогда и Кондратий не был большевиком, никуда не бегал из старой отцовской избы.

Вдохнул после пережитой тревоги, сел на скамейку около окошка. Как легко, как нестрашно сидеть в своей семье, видеть свою лохань, своих тараканов и свой умывальник с отшибленным носом. Лошадь целой осталась, и колесо валяется на прежнем месте. Надо будет всю дурь выкинуть из головы навалиться на работу хорошенько, сделаться опять мужиком, домохозяином. Разве мысленное дело по оврагам шататься, выдумывать какую-то программу? Это бездомовцам нравится языком вертеть да в большевики записываться, а Кондратий проживает своим трудом, своей копеечкой...“ („Гуси-лебеди“, ч. II, гл. 13).

Нельзя не сознаться, что поистине бесподобно набросана в этих немногих строках Неверовым психология мелкого крестьянина-собственника, этого всероссийского „середняка“, не видящего ничего дальше своей избы и так непосредственно переживающего поэзию „своей лохани“, даже „своих тараканов“.

Но, не тут-то было — „перевернулась земля другим боком, взошло солнышко с другой стороны“, и не всё так просто теперь делается, как казалось Кондратию Струкачову. Довольно скоро он был выведен из сладкого раздумья беспокойной репликой жены:

„— А ты, мужик, не сиди около окошка: увидят из улицы тебя, могут прийти“...

И, действительно, скоро „пришли“:

„— Это ви боль-шевик, который бегаль из до-му?—спросил усатый чех...“

— Я, товарищи, ничего не знаю...

Чех свернул глазами.

— Не надо такой слово — „товарищ“. Не хо-тим ваш то-варищ. Какой вам товарищ... Ясек, бе-ри е-го до-сиденья“ (Там же).

Пришлось Кондратию сидеть под арестом в общественном амбаре, хотя это уж никак не входило в его хозяйственные расчеты.

„Что это такое! Он теперь не большевик и воевать ему не хочется, сам пришел домой, решил заняться хозяйством, а его, как жулика, посадили в амбар, заперли на замок. Что же это такое? Неужто он разбойник какой? Ну, поругались они в своем селе, подрались под горячую руку — на этом век стоит: бедные с богатыми дерутся. Зачем вцепились чехи в эту историю? Какая болячка им тут? Пришли из другой земли, лопочут другим языком, и вот вам мое почтение!... И что это такое происходит?..“

Кондратий не знал, что это такое, но чувствовал: огромная злоба поднимается в нем против чехов...“ (Там же, гл. 15).

К счастью, Кондратию удалось бежать из амбара. Но куда деваться? Отправился он опять разыскивать Федюкова с товарищами:

„— Вот чехи, сволочи, чего делают — другой раз погнали из своего села! В своей семье не хозяином стал. Ну, и вре-мячко подкатилось...“ (Там же, гл. 18).

Пребывание чехов и колчаковцев в деревнях, сопровождаемое поборами и поркой, было лучшей агитацией в пользу советской власти.

„И когда пришел приказ о мобилизации в народную армию на борьбу против большевиков, заливановская, упаковская, лозинская, чернореченская, поддубовская, проталинская беднота сделалась вдруг сама большевистской. Все затаили в себе сокровенное, злое, упрямое, крепче стиснули зубы...“

Маленькие разрозненные кучки беглецов сливались в огромные партии, двигались пешими и конными, в лаптях, чулках и босоножками. Без ружей и пушек, без пулеметных лент и револьверов, только с ненавистно горящими глазами, с верой в неосознанную еще большевистскую правду, колесили по степным оврагам люди, не желающие войны...“ (Там же, гл. 20).

Так стихийно изображал Неверов события 1918 года, выступая в роли как бы беспристрастного наблюдателя-бытописателя, хотя симпатии его, конечно, не могут подлежать никакому сомнению ¹.

С большой чёткостью подошел Неверов к вопросу о расслоении деревни и в замечательной повести „Андрон непутевый“, написанной своеобразным языком, местами напоминающим былинно-песенный сказ. Повесть полна пафоса новой жизни, пафоса первых лет советского строительства, эпохи незатихшей еще гражданской войны и военного коммунизма.

Старый, темный, уходящий мир поставлен в ней на очную ставку с новыми, ранее невиданными и немыслимыми в деревне людьми и отношениями.

Повесть предваряется былинным эпиграфом:

„На Руси-то трава растет не по-старому,
Цветут цветы не попрежнему“.

Действительно, — „не попрежнему“. Вернулся Андрон из Красной Армии в деревню и начал по-новому мужицкую жизнь строить. Попа выгнали, церковь закрыли, бабы перестали мужиков слушаться, стали на собрания ходить. Самого Андрона избрали в председатели исполкома.

„Перевернулась земля другим боком, взопло солнышко с другой стороны“.

Не нравятся старикам новые порядки:

„Сидит Андрон в исполкоме — приказ за приказом. Все утро исполкомское бумажками залепил: курить нельзя, плевать

¹ Кроме крестьянства, Неверов изображает в „Гусях-лебедях“ и деревенскую „интеллигенцию“ — духовенство (также своеобразно расслоенное, от „буржуев“ попов — до „большевика“ дьячка) и учительство: колеблющуюся неустойчивую Марью Кондратьевну и более склоняющегося к большевикам хромого учителя Петунникова.

нельзя, матерным словом выражаться нельзя. Земельный декрет, продовольственный декрет, по бабьим делам декрет. Гужналог, продналог, губпродком, райпродком. И все неукоснительно, без всякого промедления. Ленина подпись, Калинина подпись, Андропова подпись. Ладно бы Ленина с Андроновой, наплевать! Аннушкина подпись! Прохоровой Аннушки. Тоже там очутилась председательницей женского отдела. Над Андроновым столом флаг. Над Аннушкиным столом флаг. Оба красные, с золотыми кистями. Над Андроновым — „Пролетарии всех стран“, над Аннушкиным — „Товарищи женщины“. (Гл. 22).

Но поделаться старики ничего не могут. За Андрона стоит молодёжь и беднота — Гришка Копчик с деревянной ногой, Яшка Мазла, Федька Бадыла и прочие. Старики злобствуют. Пришел Потугин, Софрон Семеныч, в исполком, видит:

„Стоит в углу старик седой, волосы, как у попа. И еще двое по бокам. Один глаз прищурил, другой в шапке, борода клинышком, лицо немужицкое. И венки из сосновых веток и лента красная, две хоругви с золотыми кистями. Только лампадки не хватает.

Поглядел Потугин грустно эдак, плюнул и ушел. Встретил Михайлу (Андропова отца. — Н. Ф.) на улице, головой покачал.

— В часовне был у твоего сына. Больно хорошо — лучше некуда. Новых святых произвел.

А Михайла, как маленький:

— Нет моей воли! Видишь, под ногтем сижу“. (Там же).

Тяжело становится Андрону; знает он, что приходится „против отца с матерью, против друзей и товарищей, против всей жизни итти“. А надо так — жизнь с своего места сошла:

„Десять лет стояла жизнь на одном месте. Двадцать лет стояла на одном месте. Думали — еще будет стоять, а она повернулась. Куда пошла — никто сказать не может. И когда повернулась — никто сказать не может...

Андрон в исполкоме думает:

— По доброй воле мужики не сломаются, буду делать, как сам хочу!...“ (Гл. 15).

„... Хотела бабушка Матрена слово сказать материнское, чтобы детище непутевое образумить, Андрон улыбается.

— Ты, мама, не расстраивайся! Старому человеку трудно понять. Люблю я тебя, не обижу, делать по-своему буду.

— Делаешь, сынок, не в угоду: народ недоволен.

— Темный он, поэтому и недоволен“. (Гл. 22).

Условия жизни были еще тяжелы, и „партия“ Андропова становилась все меньше и меньше. А тут пошли слухи, что из Сибири казаки поднимаются и генералы обещают всяких благ:

„У кого хлеб брала коммуна — назад. Лошадей брала — назад. Все — назад. Генерал, который в казаках поднимается, прямо сказал:

— Вы, старички, не сумлевайтесь. Помогите мне — живо разделаюсь. Губпродкому — смерть, райпродкому — смерть, картинки большевистские — в печку“. (Гл. 23).

„Молчит Андрон... Сломал перо у красной председательской ручки и ручку надвое переломил, обломышки под ноги: — Дураки!..

Не жалеть нельзя и жалеть нельзя...“ (Гл. 24).

Сильна еще была темнота народная, не понимали мужики, кто их враги и кто друзья. Поднялись они, сожгли Андронову избу, и сам он, раненый, едва цел остался:

„Стоит Андрон темной ночью на пепелище отцовском, крепко сжимает голову, платком перевязанную. Лежит дорога дальняя, непосильная — тяжело идти. Давит горе мужицкое, заливают сердце слезы и жалобы. Не жалеть нельзя и жалеть нельзя...“ (Гл. 26).

В этих словах — „Не жалеть нельзя и жалеть нельзя“ — весь Неверов с его умением передать крестьянскую психологию, не только понимающий, но чувствующий, ощущающий эти корни деревенской темноты, которые, как тяжелые гири на ногах, притягивали деревню к старому быту, — Неверов, сам-то бесспорно и сознательно ставший на Андронову сторону...

Вопрос о столкновении старого с молодым — по идеям и по возрасту что часто в деревне совпадало, — чрезвычайно интересовал Неверова, и он неоднократно обращался к нему как в своих пьесах, так и в рассказах. Некоторые из его пьес, напр. „Захарова смерть“, и построены на этом столкновении.

Старики — Захар Пеньков с женой, Максим Кузьмич — озлобленные, пытающиеся всеми силами держаться за старый быт, который обеспечивал им почот, уважение и власть, хотя бы в пределах семьи. Часть молодёжи не смеет противиться старикам, другая — Григорий, Надежда, Паша — осмеливаются бросить „старикам“ вызов, всеми силами рвутся создать новую,

лучшую, более разумную и культурную жизнь даже в условиях непрекратившейся еще гражданской войны.

Молодёжь жадно хватается за новый быт—собрания, кружки, спектакли; возможность жить, как сам хочешь, а не по родительской указке,—пьянит, захватывает.

„Перевернулась земля другим боком, взошло солнышко с другой стороны. Пришла Анютка Панфилова с ролью домой, начала по избе ходить.

— Ах, оставьте меня, Володя! Я не могу в таком положении.

Поглядел отец на девкины причуды, губами надулся.

— Брось!

А она, словно глупенькая, улыбается.

— Ты зачем, тятя, ругаешься?

— Глядеть на тебя тошно.

— Это роль такая у меня: барыню я по книжке разыгрываю.

Мать вздохнула:

— Бегай больше с коммунистами — они тебе сделают роль.

Отец с досады лаптем грохнул о половицу.

— Башку оторву, если придешь ко мне с брюхом“. („Андрон непутевый“, гл. 14).

Аналогичную сцену находим и в другом рассказе — „Каряга“¹.

„Пришел сын Петр с улицы, сразу начал торопиться куда-то.

— Мама, дай поужинать скорее!

Не вытерпел, когда мать соберет, сам пошел за хлебом в чулан. Смотрит на него Иван Силантыч и глазам не верит. Что за чорт?.. А Петр ходит по избе и свищет. Совсем не глядит на отца.

Поднял голову Иван Силантыч, попробовал прежнюю силу.

— Куда бежишь?

— В школу. . . Спектакль там устраивают...

— Не ходи! Мочи мне нет...

— А я што... доктор?

Кровь так и ударила в голову Ивану Силантычу, а в висках застучали кузнецы огромными молотками, — только искры сыпятся из глаз. Встал Иван Силантыч во весь рост посреди избы, да как гаркнет из последних сил:

— Не ходи!“

Все симпатии автора, конечно, на стороне нового и молодого:

¹ Написан „коллективно“ с П. Яровым, которому принадлежит сюжет, Неврову же отделка, оформление.

„Темные глаза у стариков. И жизнь им кажется темной. Солнышко не радует, птицы не радуют. Висят грехи перед глазами — весь мир кажется грехом. Смеяться грех, радоваться грех, жить по-своему грех“. („Так велит жизнь“ — „Крестьянка“, 1922, № 5).

Но надо отдать справедливость Неверову: он далек и от „прописной морали“ на новый лад. Он видит и „мелкие недостатки механизма“, которых встречается не мало в новом быту. И он не прочь иной раз насмешливо подметить некоторое неумение новой молодёжи выражаться, порою комичное злоупотребление иностранными словами и т. п. характерные мелочи. Чего стоит, например, хотя бы такой разговор:

- Скажем, бог, Андрон Михалыч: есть или нет?
- Обморачивание головы!
- Значит, одна прокламация?
- Буквально.
- Вам достоверно известно?
- Предрассудок темной массы“ („Андрон непутевый“, гл. 3);

или, напр., такое письмо, полученное в деревне родителями от сына Сереги и написанное „кривым необработанным почерком“:

„Дорогие родители, тятенька и маменька, и ты, жена моя, Лукерья Евдокимовна! Предрассудки, которыми вы живете по невежеству, я понял во всех отношениях, а потому уведомляю вас, что я окончательно ушел из старых понятий супружеской жизни и даю вам, Лукерья Евдокимовна, полное право на гражданское сожителство с человеком, которого вы выберете по указанию вашего сердца. Сам я ни с какими законами супружества не считаюсь и на деревню к вам скоро не вернусь“. („Страшные вести“).

Но такие места у Неверова все же, сравнительно, редки, и всю силу своего сатирико-обличительного таланта он направляет, разумеется, на изображение отживающих, ненавистных нам типов — деревенских буржуев-кулаков.

Бесподобный образ такого кулака „тысячника“ — Григория Лукича — нарисован Неверовым в одном из лучших его рассказов домосковского периода — „Новый дом“:

„На крыльцо выходил хозяин, Григорий Лукич, одетый по зимнему в теплый пиджак, медленно разворачивал черный

сафьянный бумажник, застегнутый пряжкой. Делал мужикам выговор, давал наставление, грузно садился в приготовленный тарантас. Делов много, времени мало. Нужно съездить на хутора, где работали на быках, с хуторов — на мельницу. Домой возвращался поздно; поужинав, садился за долговую тетрадь, заполненную цифрами. Если было душно, расстегивал ворот у подпотевшей рубахи и, перекладывая косточки на счетах, подсчитывал прожитый день. А когда часы и минуты, люди, быки и десятины превращались в рубли и копейки, — Григорий Лукич записывал их на приход...

Перед сном становился на молитву.

Грехов за собой не чувствовал, молился от полноты, от лишнего выпирающего чувства, переполнившего грудь... Иногда рядом с ним становилась и жена, Акулина Семеновна... Молилась на коленях с земными поклонами, поминая живых и умерших, а он, поглядывая сверху, думал о мельнице, о быках, о постройке, о том, как хорошо жить счастливому человеку...

Образ, достойный стать рядом с знаменитым блоковским:

Грешить бесстыдно, непробудно,
Счёт потерять ночам и дням,
И, с головой от хмеля трудной,
Пройти стороной в божий храм...
Три раза преклониться долу,
Семь — осенить себя крестом,
Тайком к заплеванному полу
Горячим прикоснуться лбом.
Кладя в тарелку грошик медный,
Три, да еще семь раз под-ряд
Попцеловать столетний, бедный
И зацелованный оклад.
А, воротясь домой, обмерить
На тот же грош кого-нибудь,
И пса голодного от двери,
Икнув, ногою отпихнуть.
И под лампадой у иконы
Пить чай, отщелкивая счёт,
Потом переслунить купоны
Пузатый отворив комод,
И на перины пуховые
В тяжолом завалиться сне...—

Только без чуждого нам блоковского патриотизма —

Да и такой, моя Россия,
Ты всех краев дороже мне.

Этого Неверов никогда бы не сказал. Ему дорога была Россия трудовая, крестьянская, рабочая, типы же мироедов-кулаков будили в нем только отвращение, и он никак, ни в каком сцеплении мыслей, не мог с ними помириться.

В образе Григория Лукича Неверов великолепно передает психологию дореволюционного кулака-приобретателя. Когда он выстроил себе новый дом, он привез в него из города на восьми подводах всякую мебель:

„Стулья, диваны, кровати, столы, этажерки, большое трюмо, упакованный граммофон с широкой полосатой трубой. Григорий Лукич устраивался не на шутку. Он видел, как живут „тысячники“, догонял обогнавших... Самому ему, выросшему вместе с телятами, не нужны были ни стулья, ни трюмо, ни этажерки, за которые отвалил несколько сотен, заработанных быками в степи, но все это нужно было для тех, которые придут и будут смотреть, удивляться, хвалить и завидовать...

Расхаживая по комнатам, упорно рассматривая вещи, привезенные из города, Григорий Лукич то останавливался перед граммофоном, заглядывая в широкую полосатую трубу, то подолгу стоял перед зеркалом, наблюдая в нем крупную, характерную складку на лбу у себя... Спокойные, отдыхающие глаза, украшенные мелкими морщинками, смотрели твердо, уверенно, с выражением силы и власти... Под усами лежала улыбка... Да, это он, Григорий Лукич, отражается в зеркале... Это его дом в несколько комнат... Его мебель... Его быки работают на степи... Его поля засеяны рожью, овсом и пшеницей... И шапки скидают ему... И дорогу уступают ему.

... Хотелось продвинуться дальше, сесть пошире, запустить корни поглубже... Поглядывая на маленькие, плохо обработанные полоски мужиков, мысленно прикладывал их к своим десятинам... Пожары, надж, градобитье, голод, ежегодно разоряющие мужиков, совсем не трогали Григорья Лукича. Несли ему новую радость, давали новую силу. Он, как охотник: расставлял только сети, а мужики, задавленные нищетой, заходили в них сами, путались беспомощно, покорно...

Пьяненькие говорили:

— Подлец ты, Григорий!... Сосеешь...

Трезвые почтительно снимали шапки, кланялись, уступали дорогу.

Казалось—нет пределов власти и величию Григория Лукича, но—пришла революция и сразу сломила его.

Однако не все Григории Лукичи поддались,—иные и выжили, да еще и новых народилось не мало в виде характерных фигур „спекулянтов“.

С нескрываемым презрением и насмешкой относится к ним Неверов. Вот, напр., в одноактной пьеске „Богомолы“ спекулянт Штукин, который с восторгом повествует о своих успехах:

„Продал, четыре пуда!... Не знай, куда девать-то: не знай на свечки, не знай на спички. Бог-то подождет маленько, можа хлеб ценой поднимется. Продать бы еще поросенка, чумится, проклятый. Сам хотел зарезать, боюсь, кабы не захворать после него. А в городе слопают. Прошлый раз я курицу околелую продал. Жалко собакам бросать, взял да и опалил ее. Подвернулась финтиклюшка из города, две тыщи дала и спасибо сказала...“

В рассказе „Десять тысяч“ Неверов зло высмеивает мужика, охваченного жадной приобретения, который возомнил себя богачом, не понимая падения ценности денег.

Появились в деревне „мешочники“ —

„Иван Гаврилыч долго не знал, что делать. Хлеба было немного, но тоже хотелось разбогатеть. Случай подходящий. Продать несколько пудов — из бедного человека превратишься в богача, ворочающего „тыщами“. Думал, думал — благословился. — Что будет.

Начал заманивать вятских, московских, владимирских, тамбовских с длинными мешками. Целую неделю водил через задние ворота по узенькой тропинке, густо посыпанной вальцовочной пылью. Когда заглянул в кожаный кисет из бараньей мошонки — облизал склеившиеся губы.

— Ого!

Не знал, сколько денег в кисете, пересчитать не решался, чтобы не попасться кому на глаза...

Продал однажды бычка за семьсот — сосед через два дня продал такого бычка за девятьсот. Чуть с ума не сошел Иван Гаврилыч... От досады, что ничего не выходит, начал продавать молоко, яйца. Продав двух кур, трехмесячного поросенка, петуха с обмороженным гребнем, полпуда семенного гороху.

Баба говорила сердито:

— Ты что, мужик, али белены объелся?

— Ладно, не барыня, посидишь в сухомятку.

Быстро скачущие цены ставили в тупик. Не знал, до какой степени могут подняться овцы с ягнятами. Боялся, денег совсем не останется, растащут другие. Прыгающие сороковки с двадцатками делали слабым, безвольным.

— Накладу пять тыщ, брошу...“

Наконец, решился сосчитать. Долго путался, пока не сосчитал; оказалось, что денег у него уже семь тысяч шестьсот... Перед жадным сознанием встала новая цифра: „10.000“, до которой хотелось „докласть“.

От этой мерзкой жизни, от кулачества, спекулянтства, Неверов радостно тянулся к изображению нового быта.

Конечно, в деревне тех лет еще мало было проявлений этого нового быта, но все же Неверов умел подметить те явления, которые позволяют говорить о новых идеалах и о строительстве новых форм жизни. Мелко-собственническим, приобретательским интересам Неверов противопоставляет идеалы коммуны.

„— Умный человек! Чего ты понимаешь? Коммуна такое слово...

— Какое? — растопырился Иван Силантыч.

— Какое... Сердце поет!.. Вот какое“. („Каряга“).

В рассказе „По-новому“ Неверов рисует попытку группы крестьян устроиться коммуной „в Лизарихином хуторе“. К ним отнеслись с насмешкой, но они все-таки устроились.—

„— Жизнь другая. Трудно языком сказать, не могу. Держаться надо за нее, не выпускать... Как во сне! И не верится, что это мы с Гараськой“,—говорит один из пионеров нового быта.

Разумеется, то время, когда Неверов это писал, давало не особенно много материалов для оптимистических наблюдений. Поэтому и рассказов такого рода у Неверова мало. Это были годы еще не мирного строительства, а годы напряженной борьбы. И свое стремление к новому, к коммунизму Неверов и осознает прежде всего как борьбу, будет ли эта борьба на внешнем фронте—борьба с классовыми врагами (рассказ „Я хочу жить“), или борьба на фронте внутреннем—за восстановление хозяйства, за культуру. Очень характерен в этом отношении небольшой этюд Неверова — „Великий поход“¹. После голодного года у тех, кто выжил, загорелась надежда на новый урожай; перед ними встала новая задача — засеять поля, засеять во что бы то ни стало. Пахать хоть на себе самих, на жонах и детях (лошадей поели!), раскопать землю своими руками, хоть умереть на пашне от истощения, но посеять — сами не доживут до урожая, достанется другим. Этот порыв вдохнул в измученное, чуть живое крестьянство новые силы:

„Страшное горе народное расцвело радостью невиданною. Со всех сторон, со всех дорог, десятками, сотнями, тысячами

¹ Напечатан в газете „Крестьянская Правда“, 1922, № 31, от 14 апреля; посвящен „Светлой памяти В. Я. Муринова“. См. IV том Собр. Соч. Неверова.

шли - ползли трудящиеся из больших и малых сел, из больших и малых деревень. Не было песен веселых, но не было и проклятий глухих. Каждый хотел положить свое зернышко в теплую оттаявшую землю, ибо каждое зернышко отгоняло несытый, хохочущий голод с полей...

— Нет лошадей — сами потащим бороны. Нет плугов — зубами будем ковырять землю. Мы победим!..“

И чувствуется в этих словах грандиозный символ. Быть может, о нем и не думал автор, — но перед нами — не поволжские только крестьяне, которые засевают свои поля, чтобы не умереть с голоду — перед нами встает вся Советская Россия, в смелом порыве, сосредоточенно, по ленинской указке, без песен веселых, но и без отчаяния и проклятий, берущаяся за радостный труд своего восстановления. Из больших и малых сел вышло трудовое крестьянство, из больших и малых городов вышли рабочие и трудовая интеллигенция и смело говорят: „Мы победим!..“

И Неверов знает, что победить можно только пролетариату в союзе с крестьянством, которое должно сбросить вековые путы темноты и невежества, должно понять значение науки и машин, освобожденных от необходимости служить капитализму, должно сознательно и добровольно приняться за строительство социализма. Подробно творчески разработать этих мыслей Неверов не успел (он только мечтал об этом перед смертью), но намеки на них у него имеются очень ясные.

В этом отношении особо замечателен небольшой этюдик — набросок „Гайка“, напечатанный в газете „Рабочая Москва“ (1922, № от 25 июля)¹. В „наброске“ перед нами выступает фигура рабочего Ивана Семеныча, которому хочется „потревожить полевою тишину“, „выгнать леших из деревень“, и взамен того „машину пустить“, „заставить мужика поверить в науку“. „Делом доказывать надо“², — говорит он, и верит, что придут „дни новые, люди новые“, которые „любить будут

¹ См. в V т. Собр. Соч. Неверова.

² Эта мысль была особенно дорога Неверову. Он понимал, что с одними словами к крестьянину подойти нельзя и что, во всяком случае, толку от этого не получится. В остроумном рассказе „Единогласно“ Неверов, хорошо изобразив косный деревенский быт, пронизывает над приехавшим в деревню неумелым агитатором для доклада „о текущем моменте и о международной политике империалистов“, в результате которого была принята „единогласно“ резолюция.

заводы“, „труд будут любить“ и новую жизнь „создадут с новой красотой“.

Мысли — всё в высшей степени замечательные, показывающие, что Неверов вполне усвоил дух ленинизма, и достаточно ясно открывающие завесу над тайною неосуществленных замыслов Неверова, выполнить которые не позволила ему преждевременная смерть.

Изображая жизнь деревни, как дореволюционной, так и революционной поры, Неверов всегда особенно интересовался долей деревенской женщины, „бабьей долей“. Начиная от первых рассказов, напечатанных в „Вестнике Трезвости“¹, и до последней неоконченной „Повести о бабах“, которой Неверов придавал большое значение (и хотел ею „что-то сказать“²), — он неизменно обращался к тяжелой доле русской крестьянки — „бабы“.

Сильными красками рисует Неверов поистине беспросветную судьбу женщины в деревне в довоенные годы, ее жизнь с неминуемым смертным боем, которым били мужья своих жен, с полнейшим рабским подчинением жены своему „хозяину“.

„Сорок два года работала и все молчала. Плакала украдкой и все молчала. С двоими мужьями жила на недолгом веку. Оба они били ее: и в будни, и в праздники, и пьяные, и трезвые. Били со злобой и без злобы, как бьют лошадей от нечего делать. А она, Дарьяна мать, улыбаясь им добрыми овечьими глазами, величала по имени-отчеству, плакала втихомолку и — молчала. Потом не сказалась никому, не простилась ни с кем и совсем неожиданно сорока двух лет ушла за низенькую церковь, на густо посеянное кладбище. Лучше там...“ („Повесть о бабах“).

И эта судьба женщины — одна и та же из рода в род, из поколения в поколение:

„И было с Дарьей то, что было с матерью: бил ее Гаврила Петрович со злобой и без злобы, „любя“ и в шутку, а она улы-

¹ См. выше, стр. 37—38.

² См. выше, письмо к М. Горькому, стр. 50.

балась ему добрыми овечьими глазами, как у матери...“ Забеременела — выпила первую каплю горя... „Потом выпила вторую каплю материнского горя — понесла второго ребенка. И в короткие летние ночи и в длинные зимние ночи мучили Дарью два детеныша, как два любимых змееныша, высасывали грудь, высасывали кровь, молодые румяные щеки, голубые девичьи глаза. Через год еще капля материнского горя: понесла Дарья третьего ребенка, положила на грудь себе третьего любимого змееныша. Пожелтели у нее щеки, потухли глаза, никогда не высылавшиеся досыта. Оттянулся живот пустым мешком, повисли, обносились груди с почерневшими сосками, и вымазанная навозом, ребячьими ртами, пеленками, стала Дарья глупо смешной, корявой и всегда только одного хотела:

— Спать...

И вся жизнь у Дарьи прошла только в том, что рожала она каждый год крикливых ребятишек и каждый год стаскивала их на кладбище, за низенькую церковь...

Когда забеременела пятым — не выдержала:

„Захотела она радости освобождения от пятого ребенка, чтобы удержать при себе Гаврилу Петровича (мужа), бегающего по чужим тонкобрюхим бабам, но подошло к Дарье горе горькое, сама смерть подошла, холодно смотрит в лицо. Ползает Архипка по полу, горько плачет надрывным истекающим голосом. Не слышит Дарья Архипкиных слез, мечется, охваченная страхом и болью, слабо шевелит побелевшими губами:

— Господи!

И господа нет, и ненужна ему смешная корявая баба, истекающая кровью. Только черный угодник на черной доске в переднем углу смотрит с божницы черным пятном, и Дарья без памяти говорит черному безглазому угоднику:

— Дяденька, миленький, помоги Христа-ради!

Мрак.

Ночь.

Тишина“. (Там же).

Такова бабья доля — из года в год, — неисходная, неизменная. Казалось, что никогда и перемены и просвету не будет. Однако перемена пришла, и принесла ее, — как это ни странно, — война. Не улучшилась бабья доля с войной, пожалуй, еще ухудшилась и отягчилась новыми горестями, но все же — изменилась!

Прежде всего, с уходом мужчин, женщина стала более самостоятельной, стала сама хозяйкой, и как-то сама к себе

почувствовала больше уваженья, получила веру в себя — оказывается, она и без мужика может управляться. Затем, освободившись, хоть и временно, от мужей, многие бабы почувствовали себя свободнее; многие, ранее и не думавшие о счастье, о любви, завели себе „дружков“. Правда, нередко это кончалось трагически, — если муж внезапно возвращался домой, но у иных сходило с рук благополучно, и женщина начинала чувствовать, что она — сама „своему счастью кузнец“.

Самое же главное, — что женщины почувствовали неравенство своего положения по сравнению с мужчинами, которым „все позволено“, а жонам своим они не позволяют ничего, и стали, — правда, пока еще далеко не все, — протестовать. Некоторым женщинам оказалось очень полезным знакомство с пленными, в которых они увидели более культурных и чутких мужчин, чем их „мужики“.

Всем этим вопросам Неверов уделяет много внимания. В рассказе „*Черное и белое*“ он передает свой разговор с женщиной-кучером, в которой чуть ли не впервые ему довелось увидеть протестующую против своего неравенства русскую деревенскую „бабу“. Говоря о том, как бабы „набросились“ на пленных австрийцев, она полагает, что они имели полное право так поступить. Ведь как поступают их мужья: — хватаются „походя за каждую грязную юбку“:

„Едут домой на побывку, заезжают в торговый... Из дому едут — туда же... и нас заражают... Но мы и тут, как бабы... Ладно... Муж гниет, и жена гниет... Куда же деваться? Жалеем... не ропщем...“

Но теперь прошли эти времена; по крайней мере, она, Домна, своему мужу потакать не намерена:

„Я ему тоже пишу. Любить тебе не запрещаю, дорогой супруг, люби хоть десяток зараз, но ежели захватишь от милой подруженьки, распрощайся со мной наперед... А ежели захочешь показывать силу, то сила на силу пойдет...“

Радостно записывает Неверов эти, полные сознания своего достоинства, слова женщины — русской проснувшейся от рабского плена бабы.

„Это сделала война, — говорит он. — Это она вывела женщину на другую дорогу и взвалила на плечи ей огромную тяжесть... Но женщина не упала под ней... она только окрепла, и, кроме женского, почувствовала в себе человеческое... И если мужчина борется там, то женщина борется здесь. А воин война, борец борца должен везде уважать... И женщины хотят, чтобы их уважали... хотят, чтоб считали и их за людей...“ („Черное и белое“).

Вопросу о пробуждении женщины в связи с войной посвящена и лучшая из неверовских пьес — „Бабы“. Она написана уже в революционную пору, но действие ее автор сознательно переносит „во время русско-германской войны, в год перед революцией“.

Сильно, драматически и захватывающе разворачивает Неверов перед зрителем жизнь „баб“ — „солдаток“, со всеми ее кошмарами, ужасами — с дикой ревностью вернувшегося с войны мужа, приставами свекора к снохе и пр. Но среди дикого быта замечается и отрадное явление: безответная раньше, русская баба начинает сознавать свое бесправное положение и заявлять протест:

Прасковья. Плохая все-таки наша жизнь. И ребят родишь, и мужику поблажку делаешь, уступаешь во всем, а как захочешь по-своему — бучка. У меня вон старый, детей пятеро, а поехал на войну — тоже: всю ночь гудел. Смотри-ста, душу выну.

Анна. Неужто ревнует?

Прасковья. У—у! Чай эдаких и нет, как он. С места не сойти! Сядь бывало на свадьбе с кем поближе — зашиплет. А сам до чужбинки охотник. Сколько раз накрывала его с покойной Агафьей: то в сенях, то на дворе. Стану говорить — щетинится. Мы-ста мужики, у нас другое дело — в подоле не принесем.

Авдотья. Кто это, милая, выдумал ее — не знай!

Наталья. Кого?

Авдотья. Да жизнь нашу. Лежу я ночью, думаю: провалиться бы ей! Ни тебе радости, ни тебе свету. Люди говорят — любовь есть — какая она! Пятнадцать лет прожила с мужем — не знаю. Ни разу не испытала. Только с брюхом и хожу каждый год.

Прасковья. Вот тебе и любовь.

Авдотья. Ну, уж любовь! Сделает свое дело и храпит целую ночь. Ты к нему с лаской лезешь, поговорить хочется, а он задом оборачивается. Разве у нас мужья? Чурбаки с глазами!.. („Бабы“, д. I).

Ребром ставит Неверов и больной вопрос о сифилисе, получившем жутко-колоссальное распространение в связи с войной:

Авдотья. В Петровском вон ни одной бабы здоровой нет. Все заражены—из дому в дом.

Анна. Они черти, мужики-то! Для нас—один закон, для них—другой закон. Нам нельзя, им можно. По-моему, нельзя, так никому нельзя, а можно, так всем можно. По крайней мере—не досадно будет...

Прасковья. Чай, хуже бабьей жизни и нет нигде! Каждый гнилой мужичишка конфузит. Каждый гнилой мужичишка хозяин над тобой. А без бабы все равно никуда. Днем—баба, и ночью—баба. Так бы и плюнула в харю окаянному. Горе—горем, не страхнешь никак, везешь, как лошадь, весь дом на себе, а тут еще угрозы присылают, дерутся. Словно каторжные мы, для того только и родились. (Там же).

Этим, все-таки пассивно жалующимся, бабам Неверов противопоставляет Домну—светлую протестующую личность, первоначальный образ которой был бегло зарисован в упоминавшемся рассказе „Черное и белое“. И в пьесе Домна произносит те же слова, которые говорила женщина-кучер, также Домна:

Домна... У меня вон тоже сокол грозит: голову оторву.

Анна. А ты ему?

Домна. А я ему отписываю: ежели будешь показывать силу, сила на силу пойдет... Они, мужики-то, за каждую юбку хватаются. Едут на побывку—заезжают в торговый. Из дому едут—туда же. И нас заражают, а мы и тут, как бабы. Ладно. Муж гниет, и жена гниет. Видали Марью Корчагину? Через кого страдает?

Прасковья. Дуры мы.

Домна. Эх, какие мы дуры! Ну, и ду-уры! (Там же).

Домна протестует не на словах только. Она порвала с предрассудками и смело полюбила пленного австрийца Иосифа, нарисованного Неверовым с симпатичными чертами своеобразного джентльменства.

Домна ведет агитацию среди других женщин и смело отстаивает свои права. Пьеса эффектно кончается энергичной отповедью, которую Домна дает мужикам, пытающимся ее арестовать, как смутьянку:

Домна (презрительно). Не вы ли мне указчики? Да я плевать хочу на вас. Вот!.. Законники! Судить пришли?

Судите! А с вашими законами мы сделаем вот так! (Крепко сжимает кулаки, складывает их вместе, с силой разрывает). Вот!

Мужики: — А-а!

— Берй ее!

Домна (гневно топает ногой)... Прочь! (Стоит возбужденная; среди мужиков минутное замешательство).—Занавес.

Образ активной женщины, отстаивающей свои права, идущей даже впереди мужчин, всегда привлекал Неверова. Впервые он робко его наметил еще в рассказе 1910 г. „Баба-Иван“. Характерно, что героиня этого рассказа — также Домна.

В шутку ее за смелый нрав прозвали „бабой-Иваном“. Муж у ней — пьяница; она его запирала в избе и сама шла на сход; в конце концов он, пропивши все, спьяну повесился. Тогда „баба-Иван“ добилаь того, что выжила кабатчика из деревни.

Более определенно выступает образ передовой женщины в рассказе „Бабы газета“ (1916).

Решили бабы газету выписать, и организатором выступила Наталья.

„Откуда и голос взялся, и слова не те, какие раньше говорила,—на себя не похожа. Что, говорит, мы беднее будем от этого? Мужики больше пропивали, да ничего, а мы не на водку! Кладите!“

Когда пришла газета—баб все похвалили, а раньше смеялись. Бабы ободрились и решили подать прошение, чтобы школу в селе открыли.

До революции все это, конечно, были робкие попытки отразить явление, которое чуть-чуть, лишь в зародыше, намечалось. Даже и в войну — на активный протест немногие отважились.

Когда та же Домна („Бабы“) произносила свои смелые речи:

„ — Разве это жизнь? Разве люди мы? Лошади! И цена нам лошадиная. Пока молодые да здоровые, ездят на нас, спят с нами. Как вытянут все жилы—со двора долой. Что на самом деле, неужто только для того и живем мы, чтобы ублажать какого-нибудь мужичишку? Знать никого не хочу! Что будет, то и будет со мной, а мужику шею не подставляю“, —

Катерина ей отвечает

— Ну, скажем, одна я буду, вольная. Выберу другого мужика, хорошего, а он опять будет бить. Вот ведь горе — заступиться некому. Все законы за мужиков стоят, и судить будут мужики. Скажут: бабы виноваты во всем... Кабы закон такой устроили, который за баб стоял, а то беззащитные мы". („Бабы", д. IV).

Мечта Катерины исполнилась: Советская власть издала такой закон, который „за баб стоит", — и быстро воспрянула деревенская женщина. Неверову открылось широкое поле, как для наблюдений над новыми проявлениями быта, так и для агитации. Он умело соединяет и то и другое.

Он любовно рисует нескольких советских баб — „большевичек". Характерно, что тип такой женщины отлился у него в чисто конкретный образ, даже с определенными внешними чертами. Это — высокая, стройная, степенная, полногрудая, энергичная и красивая женщина, настоящая „русская красавица". Еще в 1910 г. он „бабу-Ивана" характеризовал так:

„Росту она была высокого, полногрудая, лицом красивая. Разговаривала — не торопясь, каждое слово вылуживала и языком попусту не щелкала. Умная баба".

О „Марье-большевичке" читаем: „Высокая, полногрудая, брови дугой поднимаются — черные".

Такова же и Аннушка Прохорова в „Андроне непутевом":

„Прохорова солдатка — маков цвет. Груды — бугры полевые, руки крупчатые"...

Возможно, что перед Неверовым носился образ какой-нибудь действительно известной ему женщины, но по существу, конечно, важны для него были не красота, не рост, не „груды", а то, чем эти женщины проявили себя.

Полнее других очерчен образ „Марьи-большевички" в рассказе того же названия (1921).

Муж у ней был „так — плюгавенький — шапкой закроешь", а „сердитый — не дай господи".

„Развоюется с Марьей, стучит по столу, словно кузнец молотком.

— Убью! Душу выну..."

Марья с ним обходилась ласково, во всем ему потакала —

„как горничная: воды подаст, кисет с табаком ищет. азуется посреди избы — лапти уберет, чулки в печурку сунет.

Ночью на руку положит, по волосам погладит и на ухо помурлычет, как кошка“;

но иной раз не выдерживала:

— „Ты думаешь, деревянная я? Не обидно терпеть от такого гриба?“

Впрочем, это бывало редко: „больше в себе носила домашние неприятности“. С установлением Советской власти — Марья сразу воспрянула, почувствовав под собой опору:

„Как появились большевики со свободой, да начали бабам сусоли разводить, что вы, мол, теперь равного положения с мужиками, тут и Марья раскрыла глаза. Чуть, бывало, оратор какой — бежит на собрание. Вроде, стыд потеряла. Подошла раз к оратору и глазами играет, как девка.

— Идемте, товарищ оратор, чай к нам пить“.

Муж хотел ей — „голову оторвать“, но при людях посоветился, а дома Марья ему заявила: „Тронь только: все горшки перебью о твою козоначью голову“ — и ушла от него спать на печку... Не захотела больше и детей родить: „я — не корова, телят таскать тебе каждый год. Вздумаю когда — рожу...“

„Начала Марья газеты с книжками таскать из союзного клуба. Развернет целую скатерть на столе и сидит, словно учительница какая, губами шевелит“.

Чем дальше — тем больше:

„Жен-отдел“ устроили, курсы завели, сам комиссар стал Марье „сочувствовать“; наконец — в совет ее выбрали. Муж от всего этого „сильно расстроился“ —

„Главное, непонятно ему: смеются над ним или почёт оказывают. Пришел домой, думает: „Как теперь говорить с ней? Должностное лицо?“

А Марья лицом в грязь не ударила:

„Приходим в совет поглядеть на нее — не узнаешь. Стол поставила, чернильницу. Два карандаша положила — синий и красный. Около — секретарь с бумагами строчится. А она

и голос, проклятая, другой сделала. Так и ширяет глазами по строчкам.

— Это по продовольственному вопросу, товарищ Еремеев? Разведет фамилию на бумаге и опять, как начальник какой:

— Списки готовы у вас? Поскорее кончайте!

Глазам не верим мы. Вот тебе Марья! Хоть бы покраснела разок... Так и кроет нас всех товарищами. Пришел раз Климов старик, она и ему такое же слово:

— Что угодно, товарищ?..

Через месяц стала шапку с пикой носить, рубашку мужицкую надела, на шапку звезду приколола...

Месяцев пять служила у нас—надоедать начала: очень уж руку большевицкую держала, да и бабы начали заражаться от нее: та фыркнет, другая фыркнет, двое совсем ушли от мужьев. Думали, не избавимся никак от такой головушки, да история маленькая случилась—нападение сделали казаки. Села Марья в телегу с большевиками, уехала. Куда—не могу сказать. Видели, будто в другом селе, а, можа, не она была—другая, похожая. Много теперь развелось их¹.

Аналогичный образ выведен и в „Андроне непутевом“—уже упоминавшаяся Аннушка Прохорова¹; там же довольно колоритно описано, как бабы перестали слушаться своих мужей.

Постоянно выводит образы новой женщины Неверов и в своих маленьких агит-рассказах. Такова, например, „Марья-делегатка“ в рассказе „Горе горькое“ (журн. „Делегатка“, 1923, № 8).

Разлюбил муж жену, когда она забеременела, и прогнал к родителям. Те сначала ее приняли, но после рождения ребенка также стали гнать, к мужу посылают, а он уже другую себе завел. Положение безвыходное. Решила незадачливая женщина подбросить ребенка мужу, но, по счастью, встретила Марью-делегатку, и та объяснила ей, что по закону муж обязан давать на содержание ребенка. Аннушка о таком законе и не слыхивала. Марья-делегатка научила ее, как и просьбу в суд подать. Суд определил, чтобы отец давал на содержание сына хлебом и деньгами—тогда и родители стали относиться к Аннушке благосклоннее и уже не гнали ее с ребенком.

В рассказе „Комитет“ („Крестьянка“, 1922, № 1—2) мужики, узнав об образовании комитетов взаимопомощи, решили: „Нам такого не надо“.

„Глядим, выходит Анютка Струмилиная—вдова. Убили у нее мужа—то, большевиком был в Красной Армии. И она по его

¹ См. выше, стр. 124.

дороге пошла. Такая бритва, режет во что попало. Схватится с которым мужиком на словах спорить, мужик-то хлоп-хлоп глазами — не может ответить, а она как по азбуке отчитывает. Вышла на середину и говорит человеку из волости:

— Если нашим мужикам не нужен комитет, то нам, бабам, нужен...

Так и устроили комитет, а когда он стал действовать, то и мужики убедились, что бабы дело затеяли ¹.

Можно еще упомянуть рассказ *„Захотели бабы — сделали по-своему“* („Крестьянка“, 1922, № 4) в котором изображается, как при перевыборах совета бабы провалили старого председателя, бывшего ранее старшиной, крича: „Из бедного сословия найдем, кто большевистскую руку держит“, потому что „большевики дали нам женскую свободу“. Таков же рассказ *„Аппарат“* („Крестьянка“, 1922, № 7), в котором бабы поднимают войну против самогона, сначала своими средствами, потом написав прошение в город.

Таков и рассказ *„Головка“* („Крестьянка“, 1923, № 10), в котором девушка Ульяна решила „поднять баб“, чтобы послать в город „делегатку“ искать „настоящих коммунистов“ и жаловаться на местных самогонщиков и взяточников. Делегаткой избирается, конечно, сама Ульяна. В городе она с трудом нашла „женский отдел“, но там ее приняли с участием; она рассказала обо всем „товарищу Марусе“ и вернулась через пять дней в деревню в сопровождении командированных агитаторов для проведения митинга. Ульяну избирают делегаткой в волость. — „Началась для нее новая жизнь“.

Таков же и ряд других рассказов.

Любовно отмечает Неверов и выявившуюся среди крестьянских девушек и молодых женщин тягу к образованию. Так, в рассказе *„В путь-дорогу“* („Крестьянка“, 1922, № 7) —

¹ Интересно отметить оригинальный прием, которым пользуется часто Неверов, чтобы подчеркнуть расслоение деревни: не выводя прямо наивных противников нового строительства — мужичков-середняков, он выводит их в качестве расказчиков, чем достигается двойная цель — во-первых, полнота изображения, во-вторых, умело и незаметно вводится сатирический элемент — суждения рассказчика рисуют его в смешном виде. Это же придает и особую живость и занимательность повествованию.

Маринка, 28-тилетняя вдова, вздумала учиться. Отец ругается: „негожа бабам деревенским с книгами за столом сидеть—конфузно, от работы мужицкой отстанешь“. Но Маринка твердо знает: пришла революция Октябрьская, дала бабам свободу, — и ушла Маринка из деревни в губернский город—поступить на рабочий факультет.

Повидимому, новых женщин хотел вывести Неверов и в своей „Повести о бабах“ — и для того ездил в Самарскую губернию приглядеться к работе „жен-отделов“ на местах.

3. Гимн женщине. Остро чувствуя женщину, как равноправного гражданина, Неверов не менее остро ощущал женщину и как женщину, в лучшем смысле этого слова,—как возлюбленную, как радость жизни и товарища для мужчины.

„Единственным моим желанием, — писал А. С-вич в автобиографии, — которое я бы хотел художественно претворить в жизнь, это во всей красоте и величии показать женщину, так несправедливо униженную мужчинами, несправедливо оплеванную церковью в прежних канонах, как дьявольский сосуд греха и мерзости“.

Этот мотив, слабо выявленный в раннем его творчестве особенно заметно зазвучал в последнее время.

По словам друзей А. С-ча, в последние года он как-то особо болезненно стал ощущать, что вокруг него, в его личной жизни, нет ярких красок, нет солнца, нет „музыки“, всё бледно, серо, прозаично.

И вот он, как бы по принципу контраста, пытается воссоздать в творческих образах то, чего не было в его жизни¹.

Он создает ряд прекрасных женских образов, каких, может быть, ему никогда и не приходилось наблюдать в действительности, но какие могут быть, должны быть². Они нарисованы с большой долей художественной убедительности, и за

¹ Разумеется, тут были и другие, более глубокие причины: начавшееся строительство Советских Республик неминуемо должно было настраивать Неверова на бодрый солнечно-радостный тон.

² Любопытно, что когда Неверов читал свои рассказы о женщинах товарищам-писателям, то они говорили ему: „Да ты совсем женщин не знаешь. Не бывает таких, как ты описываешь“. Но он не смущался, чувствуя внутреннюю правду своих созданий.

них с полным правом можно назвать Неверова — пролетарским Тургеневым.

Стихийно-романтический образ женщины нарисован Неверовым в прекрасном, солнечном рассказе „В садах“. Героиня его — Маринка — своего рода „дитя природы“, нечто вроде русской Кармен, — „змея с черными глазами“:—

„Как больно ужалила. Здесь вот, в шалаше, на бараньем полушубке, теплой ночью. Трепыхались сонные птицы в ветвях — трепыхалось Маринкино тело. Шептали шорохи ночные вокруг шалаша — шептала Маринка в Симоново ухо.

И тут целовала, и тут.

Железом горячим жгла, душила руками. И не страшно было Симону умереть в Маринкиных руках, не подумалось“.

И это — несмотря на то, что Симону, садовому сторожу, уже сорок три года. Но не одно счастье принесла ему Маринка; терзается он ревностью:—

„В низком доме с голубыми стенами, где живет городская коммуна, — музыка-пьянино. А в музыку-пьянино, словно лента алая в косу русую, вплетается голос Маринки.

— Она! С коммунистами гуляет...“

И не одного садового сторожа Симона свела с ума Маринка. Агроном Ескин, — ему 35 лет; у него жена Катерина Марковна, которая сейчас вот —

„крепко спит... на широкой кровати в купеческой даче. Сбилась сорочка под самые груди, обсосанные пятью ребятишками. Трое умерли, двое живы. Рядом на табуретке — зубы золотые, розовые подтяжки“; —

а он... не может не думать о Маринке... Вот агроном идет по полю, засеянному губпродкомским горохом, и Маринка с ним. Ескин —

„смотрит на голые Маринкины ноги, вымытые утренней росой, задыхающимся голосом говорит:

— Почему ты, Маринка, не выходишь замуж?

Рвет Маринка стручки левой рукой, глаза лукавые налиты смехом.

— Зачем мне замуж?

— Я бы женился на тебе. Честное слово!

— Ой, какие вкусные!..

— Слушай, Маринка, я разведусь с женой ради тебя. Хочешь?..“

А Симон страдает в шалаше, понять не может, что с ним сделалось:

„Сколько ночей проспал с бабой Лукерьей. Сколько раз залезал под дерюгу довольный и сытый, — а этого не было, желанья, мучащего сердца. Подошло оно в сорок три года. Месяцем из-за тучки вылезло, осветило глубину не показанную, поманило в дорогу неведомую. Легла на глаза бессонница, на сердце легла печаль-тоска. Стоит в лунном свете чужая окаянная девка, бабу Лукерью отталкивает. Словно ветром-бурей ударяет кровь Симону в омраченную голову. Ловит мысленно Маринку он, слышит запах Маринкина тела тонкими помолодевшими ноздрями, задыхается, стонет, лежит неподвижно.

— Ах, окаянная!“

А когда приходит — ревность не дает покою:

„— Ты где была?..“

Поднимает Маринка подол, будто нечаянно, показывает Симону молодые, упругие ноги.

— Ой, какие вы ревнивые, мужики! Везде была и опять везде пойду. Кто конторщиком надо мной? Не нужна тебе — другие найдутся...

— Я не могу такую игрушку играть. Сама знаешь характер мужской...“

И совсем-было опять отдалась ему Маринка, да некстати пришла Симонова жена Лукерья — „пирогов принесла Симону в белой тряпичке“ и ночевать с ним просится. Маринка сначала притаилась в шалаше, а потом нарочно два раза кашлянула. Вышел скандал. —

„А Маринка головой качает:

— Не хотела я, Симон Петрович, вашего скандала вот настолько. Не для того приходила. Разве можно жену свою бить?“

И уходит с подвернувшимся парнем Игнашкой, также сохнувшим по ней; Симон же, оставшийся в дураках, лежит —

„вниз животом, будто спички ищет, зубами тихонько поскрипывает...“

„Ах, окаянная девка!

Любимый пирог сделала противным.

Всю жизнь семейную слизала дьявольским языком...“

А „у костра сидят работники губпродкомские“ — Яков, Давыд и Мелеха, и тоже про любовь разговаривают.

„Мелеха рассказывает:

— Бабы все одинаковые: две руки, две ноги, а разница и между ними бывает. Которая взглянет—из ружья прострелит, которая—кирпич кирпичом. У меня случай однажды был...

— Длиннее рассказывай! Все, как было... Только не ври больно-то...

— Тут нельзя не врать. Если голую факту рассказывать—ничего не получится. С этого и любовь начинается, когда хорошенько соврешь. Нашу бабу щелкай больше—нравится. Или хватай покрепче—тоже не будет сердиться. Образованная которая, той обязательно скажи наперед: какая вы интересная. За это слово она тебя в любую подоплеку пустит. Станет у нее в голове кружиться, тут и бери голыми руками. Положишь совсем—она и глаза вот так:—„Что вы со мной делаете?...“

— А ты откуда знаешь?...

— Прахтика!“

Другой работник — Давыд резюмирует:

„— Сила большая бабе дана. Скажет любому мужику у которого охотка есть, чтобы десять верст бежал за ней без передышки—двенадцать пробежит, истинный господь!...“

На эту тему написан Неверовым другой, не менее прелестный рассказ—*„Полька-мазурка“*.

„На станции Гурьяну попалась бабенка: тоненькая, остроносая, ноги на высоких каблуках. Идет, будто на ходулях, и все подпрыгивает, из стороны в сторону покачивается. Поглядела на Гурьяна круглыми воробьиными глазами — сразу и прищипилила на все четыре кнопки. С места сдвинуться не может Гурьян...“

А она вдруг попросила Гурьяна ее довести.—

„— Ладно, довезу. Сколько заплатишь?...“

Она улыбается.

— Какой вы неуважительный, товарищ! Женщину нужно бесплатно довести.

Растопырил ноги Гурьян—думает:

— Чего получится, если на самом деле дарма посадить?“

Поехали. Везти ее пришлось за 15 верст дальше своей деревни. „Бабенка“ оказалась девушкой Тоней¹, ехала к матери в деревню из города. Завертела она совсем Гурьяна по дороге; он и голову потерял, гнал лошадь, потешая Тоню, и не знает, как стал сразу ее упрашивать замуж за него выходить. Она полупутя, полу-серьезно сказала:

„— Хорошо, Гурьян Никанорыч, я подумаю. Но, прежде чем выйти замуж за вас, я погляжу, как вы живете. Согласны? Гурьян согласился...

Дома встретила старуха в черном платочке. Взглянула на мерина с перетянутыми боками, на Гурьяна помолодевшего. Увидя бабенку незнакомую, недружелюбно подумала:

— Какую лихоманку привез — лошадь перегнал, дурак!“

Гостью пришлось чаем поить. Это бы еще ничего, но „бабенка“ сразу командовать Гурьяном стала: заставила умыться, рубашку новую надеть, заявила, что в избе все по-новому надо устроить — нет картинок на стенах, зеркала, занавесок на окнах — зато икон много, и грязно очень. А тут, как нарочно, таракан с потолка прямо в чайное блюдечко упал.—

„— Вот чорт! — подумал Гурьян. — Не мог в другое время упасть.

Ухватил он таракана за длинный шевелящийся ус, наклонился. Неторопко положил под сапог, неторопко раздавил таракана сапогом“.

Да сразу и заявил:

„— Мама, я женюсь.

— Где?

— Вот здесь, на этой женщине...“

Потом повез „бабенку“ — „домой в будний рабочий день до Романова села за пятнадцать верст“. Мать Гурьянова проводила ее словами:

„— Поезжай с богом, черти тебя накачали на нашу шею!..“

А по улице, как поехал Гурьян „в розовой шумящей рубашке, в черных миликсиновых штанах“, все на него глядели:

¹ Прелестный образ этой девушки Неверов только, к сожалению, несколько испортил тем, что заставил ее... курить, что производит крайне невстетическое впечатление.

„Все окошки уставились, все избенки повернулись лицом к нему, и каждая избенка будто кричала вслед:

— Гляди, гляди, невесту повез!..“

Гурьян и сам пришел в сомнение:

„— Интересная штука! Люди работают, а я разъезжаю, чорт!..“

...Ошибся маленько он, сам понимает теперь... Завтракал молча и думал о том, как он поедет завтра бороться дальнюю десятину... А из блюда на него (это бывает с каждым человеком) — из блюда на него поглядела Тонина кудерка, выпавшая из-под беленького платочка“...

Не мудрено, что Гурьян не выдержал, через несколько дней поехал к Тоне в гости. Она его встретила радостно, оставила ночевать — вечером спектакль у них будет, она играет, а после спектакля танцы — но Гурьян танцевать не умеет, так она его научит, самый легкий танец — польку-мазурку. Гурьян совсем волю потерял — стал танцевать учиться! Она над ним смеется: „Фу, мужик неуклюжий! Стой вот так!“

Умоляет ее выходить за себя замуж Гурьян, но она условия ставит:

„— А венчаться как?... В церкви я не стану... А воля моя как?... Если я вздумаю уйти от тебя, когда не понравишься ты своим характером?..“

Гурьян на все согласен:

„— Эх, мазурка-мазурка! Придется, видно, всю жизнь под коленку теперь — ничего не поделаешь...“

На этом рассказ обрывается. По словам П. А. Неверовой, А. С-вич думал развить его, чтобы показать, как Тоня перевернула всю жизнь простоватому Гурьяну, но, к сожалению, пришлось поспешить и сдать в печать со скомканным концом; вновь же вернуться к рассказу уже не удалось.

С большим мастерством умеет Неверов передать и стихийную силу женской любви. Вот, например, одна из классических в своем роде сцен „Андрона непутевого“:

„Не спится Прохоровой — страдает.

Горит перед глазами Андропова рубаха, мучают колокольчики на ногах. Ходит кровь по косточкам, переливается. Щемит сердце необласканное—хочется. А чего хочется—и сказать нельзя.

Вот она любовь какая!

Сбросила Прохорова одеяло тканьеовое, сидит на кровати в одних рукавах. Жарко. Хочет сердце, хочет. Все знают, чего хочет необласканное. Кто будет судить?

За стеной колокольчики ¹. Ближе да громче. Громче да ближе. Бесы лукавые, что вы смущаете бабу подумавшую? Не успела одеялом прикрыться—перед ней Андрон улыбается. Только три слова сказал:

— Напугалась, Анна Степановна?

Три слова—три гвоздя. В сердце одно, в голову одно, в руки-ноги одно.

Вот она любовь какая!

Сел Андрон бочком на кровать, а Прохорова без воли, без разума. Два раза петух кричал, чтобы расходились—не слышали. Доила корову старуха—не видели. Играли под тканьевым одеялом, посмеивались.

— Андронушка, милый, иди!

— Аннушка, милая, мне хочется полежать.

— Люди увидят—негожа.

— Я людей не боюсь.

Весь двор зажгла Андропова рубаха. Горит соломенная крыша над кроватью, горят плетни по бокам, горит белый день—разгорается.

— Андронушка, милый, лежи до обеда!

— Аннушка, милая, поцелуй два раза покрепче!“ („Андрон непутевый“, гл. 4-я) ².

Кроме реально-бытовых рассказов на любовные темы, Неве-ров писал еще лирические „стихотворения в прозе“ о любви. Они, пожалуй, не так яркие, не так оригинальны, как его рассказы, но для характеристики настроения писателя в последние годы его жизни весьма любопытны, да и сами по себе порою очаровательны.

Таковы: „Отрывной календарь“, „Радушка“, „Поэма о женщине“, „Птица малая“, „Любовь“, „Горе“, „Человек без одежды“ и нек. др.

¹ На Андроновых шпорах. Н. Ф.

² Нельзя не отметить еще прелестной миниатюры „Первый снежок“, в которой изображен необычайно „смелый“ на любовные дела парень и безмолвно покоренная им в присутствии ничего не подозревающего мужа женщина.

В них Неверов пытается передать стихийность чувства любви, ту „музыку“, которой ему не хватало в жизни.

„Я никого не любил, кроме женщины. Не было у меня ни разума, ни предрассудка. И в мире ничего не было, ни греха, ни измены. Только желание насытить ненасыщенное.

Яблоки не стыдятся, когда наливаются.

И виноград не стыдится, когда опьяняет...“

Вот — „она“:

„Молодая, здоровая, сильная. Тонкие губы отравлены ядом. Берет мою волю, мои мысли, уводит березовой аллеей.

Это Елена...

— Пощупай, какие холодные руки!...

Пью.

На губах моих сладость грудей. На глазах голубая повязка. Пью весеннее, лесное, зеленое.

Вот и все.

Вот и любовь...

Окаянный я.

Пьяный целовал Еленины ноги, яблоками душистыми клал в рот упругие груди.

Лгу.

На глазах голубая повязка была. Видел тело — не видел стыда. Видел обнаженную — не видел наготы. Молодое прекрасное тело я видел. Ему молюсь, коленопреклоненный...“

Это — мечта.

А вот „проза жизни“ — реальное:

„В спальней повернута лампа. Надежда Федоровна плачет. Плечи голые, кожа морщинками. Уверяет, что я разлюбил. Разве я знаю, какая любовь? Была к женщине и теперь есть.

— Не плачь!

— Не любишь ты.

Да. Сегодня я не люблю Надежду Федоровну, думаю о Елене. Надежда Федоровна не хочет, чтобы я думал о Елене, а я думаю.

И сам я не хочу думать о Елене, думает другой за меня...“

И на устах его гимн:

„Женщина!

Я никогда не изменял тебе.

Никогда не грешил перед тобой...

Ты невеста моя, неизменно юная.

Я жених твой, неизменно радостный.
 Когда иду к тебе, надеваю лучшие одежды.
 Когда прихожу к тебе, говорю лучшие слова.
 Крепко вино грудей твоих.
 Крепко вино и губ твоих.
 Благословенны родники, освежающие сердце!
 Благословенны ноги, встречающие жаждущих!
 Я люблю женщину". („Отрывной календарь. Роман
 моего сердца"—Альманах „Современники", 1, М., 1923).

Написав такой гимн сердца, своего рода новую „Песнь
 песней", Неверов не остановился — ему хотелось говорить все
 о том же и о том же. И он пишет еще и еще о наполняющих
 его сердце чувствах.

Вот его „Поэма о женщине", пожалуй — лучшее, что им напи-
 сано в этом роде.

„Красота, единственная в мире!
 Радость, единственная в сердце!
 Нежная скрипка под нежным смычком — вечно цветущее,
 вечно душистое слово:

— Женщина!

Только семь букв, а какая музыка! Только семь росинок
 на языке моем, а какая сладость!..

...Грех?

Это бесстыдники выдумали.

Голодные — они низко кланяются, сытые — злобно плюют
 в ручей, освеживший им разум и сердце...

Женщина!.."

Особенно любопытен также лирический этюд „Человек без
 одежды", в котором Неверов зло высмеивает буржуазные понятия
 о „нравственности" и пытается построить свою философию при-
 ятия непосредственных радостей жизни и природы:

„Когда ему исполнилось девятнадцать лет, он, увидя
 девушку, воскликнул:

— Поздравь меня: мне исполнилось девятнадцать лет!

Девушка удивилась.

— Какое мне дело?

— Как? Ты не знаешь? Ведь мне исполнилось девят-
 ндцать лет. Я молодой, здоровый, сильный. И ты молодая,
 здоровая, сильная. Ты — колодезь в степи, я — странник, жажду-
 щий твоих родников.

Девушка отвернулась.

Человек без одежды стоял пораженный.

— Послушай! Но кто будет пить воду из твоих родников? Верблюд?..

Пошел человек к реке и, увидя женщину обнаженную, восторженно крикнул:

— О, лоза виноградная! Гроздья ягод твоих налиты соком, и ты поджидаешь садовника. Хочешь, чтоб сердце мое опьянилось?

Глаза женщины, говорящие правду, ответили:

— Пей!

А язык, научившийся лгать, прошептал:

— Я поджидаю другого.

Человек без одежды сказал:

— Напой меня первого, я уступлю место другому.

Тогда женщина сказала:

— Ты, верно, не из нашей страны? Юноши наши обнажаются только ночью под душным шатром одеяла, ты жеходишь ко мне обнаженный при солнечном свете... Разве не знаешь, что стыдно показывать тело?

От досады человек без одежды воскликнул:

— Отец! Я не знаю тебя. Но зачем ты дал мне скверное тело, которое стыдно показывать? Дал бы тело душистого ландыша, чтобы женщины нежно к уставам прижимали его...

Женщина была очарована музыкой слов пришедшего в страну скрывающих желанья свои при солнечном свете. Сняла она одежды лицемерия своего, повела юношу на брачное ложе.

— Ты первый из первых! Да будет вовеки“.

Это—какая-то солнечная философия радостей жизни—не то в духе эллинизма, не то—первобытного руссоизма, не то—как греза о далеком коммунистическом рае будущего, когда в бесклассовом обществе, освобожденные от социального гнета, полные господа над природой, все люди смогут быть идеально „свободными“.

4. Дети у Неверова.

Если Неверова можно назвать певцом женщины, то с неменьшим правом он может быть назван несравненным изобразителем детской психологии. В этом смысле у него едва ли есть равные в современной литературе мастера... Некоторые его рассказы, в которых изображаются дети,—в своем роде „шедевры“, не затеряющиеся и в мировой литературе о детях.

Неверов был исключительным знатоком детской психики, знатоком „души“ детей деревни и городской улицы. Этому содействовали отчасти личные воспоминания о своем детстве, затем

продолжительные наблюдения над крестьянскими детьми в школе, наконец — наблюдения над собственным „сыночком Борей“¹. Быть может, этому способствовали и те черты какой-то особенной, детской ясности, которая была в характере самого А. С-ча.

Детей он любил, любил их за то, что они — дети. С любовью писал рассказы о детях, и даже в одном из самых значительных своих произведений — „Ташкент — город хлебный“, — повесть, которой, несомненно, обеспечен мировой успех,² — Неверов ставит в центре своего повествования двенадцатилетнего Мишку и преломляет события голода через его психику. С каким-то совершенно особенным, неподражаемым мастерством, на первый взгляд исключительно простыми, как бы элементарными средствами, умеет Неверов ввести читателя в несложный, но своеобразный мир ребенка, который чувствует себя (как сам автор когда-то) в 12 лет уже „мужиком“.

„Дед умер, бабка умерла, потом — отец. Остался Мишка только с матерью да с двоими братишками. Младшему — четыре года, среднему — восемь, самому Мишке — двенадцать. Маленький народ, никудышный... Мать с голодухи прихварывает. Пойдет на реку за водой, насилу вернется. Нынче плачет, завтра плачет, а голод нисколько не жалеет. То мужика на кладбище несут, то сразу двоих. Умер дядя Михайла, умерла тетка Марина. В каждом доме к покойнику готовятся. Были лошади с коровами, и их поели, начали собак с кошками ловить.

Крепко задумался Мишка.

Семья большая, работники маленькие. Он самый надежный. Отец так и сказал перед смертью:

— Ты, Миша, за хозяина будешь.

Вышел на улицу Мишка, мужики Ташкент поминают. Хлеб очень дешовый там, только добраться трудно. Туда две тысячи верст, оттуда две тысячи верст. Без денег нельзя: за билет надо дать и за пропуск надо дать.

В черновых тетрадах Неверова сохранились любопытные записи разговоров со своими детьми, например, так:

— А ты сменял бы, Борис, мешок шоколада на мешок мороженого?

— Нет.

— А ты, Ниночка?

— Чтобы простудиться. Чай, шоколад-то сладкий.

¹ Ее уже начали переводить на иностранные языки: в газетах сообщалось о подготовляющихся переводах на французский и английский языки. Недавно вышел немецкий перевод (Berlin, 1925), вызвавший сочувственные отзывы печати: „Роте Фане“ („Die Rote Fahne“ 1925, № 70, 27/III) и др. У нас вышел в свет перевод на еврейский язык — изд. акц. об-ва „Школа и Книга“, М. 1924, стр. 143, тир. 3.000.

Долго слушал Мишка, спросил:

— А маленьким можно туда? (Гл. 1).

Решает ехать в Ташкент за хлебом, уговаривает Сережку, товарища, на год его моложе:

„Сережка не сразу поверил.

— А если дождик пойдет?

— Дождик летом теплый.

— А если солдаты прогонят?

— Мы тихонько от них...

— А назад когда вернемся? — спросил Сережка.

— Назад мы живо вернемся. Туда, самое много, четыре дня, оттуда, самое много, четыре дня. Соберем по двадцать фунтов — и ладно, чтобы тяжело не было...

— Давай, Мишка, никому не сказывать.

— Давай!..“ (Там же).

Все изумительные приключения Мишки, который все-таки в конце концов добился своего, съездил в Ташкент и привез шесть пудов зерна, изложены Неверовым с захватывающей правдивостью и какой-то особенно подкупающей наивно-детской простотой.

Чего стоит хотя бы этот, столь характерный для крестьянского мальчика, наивный практицизм:—

„Мишка нахмурился.

В мешке у него лежал кусок травяного хлеба. Хорошо, если бы и у Сережки лежал кусок травяного хлеба. Тогда у обоих поровну, а теперь невыгодно. Куснут раза по три — останется половина.

— Почему ты хлеба не взял маленько?..

Жалко стало товарища Мишке.

Вспомнил уговор — помогать друг другу, отломил кусочек хлебца.

— На! придем на станцию — отдашь. Ты думаешь, хлеба мне жалко?..“ (Гл. 4).

Или это наивное вранье, к которому прибегает Мишка, чтобы мужики его не выгнали из вагона: отец у него, оказалось —

„в орта-чека служил полтора года — из коммунистов он. Ну, убили его белогвардейские буржуи, теперь им пенсию высылают за это. А который сажал Мишку на той станции, самый главный начальник. И письмо от него везет Мишка тому самому дяде,

который в Ташкенте комиссаром служит. А этот самый дядя тоже письмо прислал Мишкиной матери: пускай, говорит, придет мальчишка ко мне, я его поставлю на хорошую должность и хлеба могу выслать без задержки. Два раза лопатинские мужики ездили к нему. Даст им дядя бумагу казенную — никто не трогает. Которых остановят, у которых совсем отнимут, а они покажут бумагу с дядиной печатью — пальцем не имеют права тронуть...“ (Гл. 20).

Или, наконец, такие крохотные, но изумительно ярко вскрывающие детскую психологию штрихи:

„Больница Мишке понравилась: крашеная и окошек много...“ (Гл. 13).

Все ужасы, все нечеловеческие муки голода, разрухи 21-го года становятся как-то особенно трагичными, когда внимание читателя приковывается к страданиям детей; с другой стороны, та неистощимая энергия, которая заключена в этом как будто неприспособленном к жизни ребенке, но в то же время таком смелом, таком отважном, таком изобретательном, — энергия, всё побеждающая, несмотря на все описанные ужасы голода, тифа, холеры, несмотря на смерть товарища — Сережки, несмотря на тысячи смертей кругом, — как-то бодрит, оставляя в конце концов читателя примиренным и удовлетворенным, с радостным чувством веры в будущее: Мишка не пропадет, несмотря ни на что.

И вновь чудится (как и в „Великом походе“), что Мишка — не Мишка, а своего рода символ — символ молодой, рабоче-крестьянской Советской Руси, перенесшей все ужасы и голода, и разрухи, и блокады, и войн, и все-таки живой, бодрой, мощной, молодой, хотя в массах еще и наивной и мало приспособленной для борьбы. Ведь это она, вся Советская Россия, несмотря ни на что, несмотря на тысячи, миллионы смертей — выходит на новую дорогу и говорит, смотря на худые крыши: „ладно, тужить теперь нечего, буду заново заводиться“ (гл. 32, конец „Ташкента“) ... — и заводится, и кое-чем уже завелась...

Примечательна и та особая вера в человека, которая сквозит всегда у Неверова: тяжело было Мишке, чуть не погиб, но нашлись добрые люди — помогли ему: даже в страшной „орта-чека“ его ласково накормили, а товарищ Кондратьев, машинист, к которому он залез на паровоз, сжалился над ним, не только

не прогнал, но довез до Ташкента, как родного. И это особенно радует и Мишку, и... Неверова...

Бесподобны также мелкие рассказы Неверова, посвященные детям. Вот, например,—Колька в изумительном рассказе того же названия:

„Шапка с пикой, ноги циркулем, во рту — папироска. Четверых разбойников под началом держит. Младшему Володьке — восемь лет, самому Кольке — двенадцать. Воробьи, голуби, щенки, кошки при одном появлении — врассыпную. Кто — вверх, кто — под забор. Отчаянная банда. Володьку придется выкинуть: матери слушается. Вот Яшка, атаманов сподрушный, ни черта не боится. Мать — с ремнем, он — на улицу.
— На-ка вот!..“

Залезли в Харитонов сад за яблоками. Володьку поймали, выстегали прутом, но он не унывает:

„— Мне и не больно даже.
Вынимает два яблока из кармана.
— Вот они!
— Дайте ему покурить за это...“

Или виртуозно воруют дрова

„Волга. Лодки у берега чмокают. Дуются белые пузыри, бегут вперегонки. Пароходишко мокрыми губами хлопает...

Дрова казенные. Дремлет часовой на чурбашке. Тихо. Кругом — никого. Колька строит план.

— По полену — четыре, по два — восемь. Заходи с другой стороны, без сучков выбирай.

Четверо скрываются, сам подходит к часовому.

— Товарищ, не видал здесь козу?

— Иди, не видал.

— Ушла, акаянная, целый день ищу.

— Чего тебе надо?

— Шут с ней и с козой. Давай покурим. Пускай ее утопится где-нибудь, лучше будет...

Вынимает коробочку с табаком.

— Спички есть?..“

Клюнуло. Ребята с прибылью:

„Максимка хвалится.

— По два утащили. Березовые“.

Являются к Сарапулле кофейнику.

„— Дров надо?

— Бером.

— Часы есть — возьмешь?

— Все бером. Лампочка тащи, ножик тащи. Разный хурлы-мурлы. Давай рука!

Колька протягивает руку, Сарапулла бьет ладонью сверху.

— Ты не знал и я не знал. Во!

Пир. Три стакана кофе, пачка папирос...“

А вечером собираются итти в театр:

„— В цирк пойдем.

— Ну его к чорту.

— В оперу.

— Там артистка одна больно визжит. Как поросенок зарезанный.

• — А я недавно плюнул вниз. Прямо на голову кому-то...“

Не менее эффектно ведет себя Колька и дома:

„По утрам Колька просыпается поздно. Сосет папиросы в постели, поет из оперы. Прибегает Марья-мать с базару, „лается“ на всю комнатуху:

— Каянный! Мучитель!

— А раньше-то!

— Скоро ты встанешь?

— Не кричи.

Небрежно вынимает бумажки из самодельного портмонета.

— На вот советских. Назола.

— Это ты кому говоришь, пащёнок? Отдам, отдам в малолетнюю тюрьму. Не буду мучаться...

— Отдала одна этакая...“

Создать такой в своем роде „шедёр“ мог только исключительный мастер. Рассказ написан еще в Самаре — лучшее доказательство, что в Москву Неверов приехал уже вполне сложившимся художником ¹.

¹ В связи с годовщиной смерти Неверова в газетах появилась довольно бестактная заметка, в которой сообщалось об исключительном влиянии на Неверова кружка „Никитинские субботники“, только в недрах которого будто бы и вернулся талант Неверова. Нелепость и тенденциозность этого сообщения очевидны.

Любопытнее всего, что Неверов как-то так умеет настроить читателя, что этот Колька, — отъявленный хулиган, воришка, разбойник, — вызывает к себе симпатии. В нем и его товарищах, таких же ворах и хулиганах, есть одно неотъемлемое преимущество, то, что они все-таки дети, и Неверов это бесподобно умеет показать ¹.

Прелестны и другие рассказы, где героями являются детишки. Вот, напр., рассказ „Большевики“: — большевики это —

„Женька, Борька, Маруська, Борькина сестра Нинка, Женькина сестра Ленка и Ленкина кукла со стеклянными глазами“.

Они важно шествуют по улицам, устраивают собрание, играют „в Ленина“ и „в Луначарского“ и „в первый май“.

Или рассказ — „Яшкина скука“:

Очень у Яшки отец с матерью строгие. Что ни сделаешь — сейчас порка. Решил Яшка с горя умереть.

„— Значит, умрешь? — спрашивает Петька Зубрилин.

— Умру! — тихо вздыхает Яшка, закрывая глаза.

— А биток кому отдашь?

В этом вот и заключается вся штука.

Хорошо тому умереть, у кого битка нет, а у Яшки биток лучше всех: навесистый и ложится каждый раз на плочку. Сам Яшка не умеет сшибать пока, либо перекинет, либо не докинет, а Семка Коза Яшкиным битком весь кон подмазывает с одной руки“.

Не менее прелестен рассказ и о Петьке Строгане, ловко спрятавшем материну юбку на чердак и виртуозно разыгравшем из себя „красного сыщика“ („Красный сыщик“), или о наивном пареньке, приходящем в недоуменный восторг перед мудреными словами вроде „Главбум“ и радостно надевшем себе на голову доску с круглым отверстием посередине неведомого для него назначения („Дыр-доска“).

Нельзя не остановиться также на ненапечатанном ² еще пока рассказе, в котором Неверов показал совершенно исклю-

¹ См. прекрасную статью Л. С. Гинзбурга: „Дети у Неверова“ — в сборнике „А. С. Неверов“, изд. „Земля и Фабрика“, М. 1924, стр. 97—111.

² Теперь уже напечатан в детском журнале „Искорка“, 1924, № 1; Собр. соч., т. VI.

читательное умение посмотреть на мир глазами ребенка. Рассказ называется: „Как у нас война была“.

С любезного разрешения П. А. Неверовой привожу из него начало и конец:

КАК У НАС ВОЙНА БЫЛА.

Рассказ мальчика.

„Лег я в эту ночь на полу около скамейки, а мне чего-то не спится. Лежал-лежал, тут еще нога зачесалась и пить захотелось маленько. Поднял я голову, а в избе у нас, как в погребе — не видать ничего. Слышно только: мама дышит на кровати, да корова за стеной чешется, и будто мышь в углу лапкой скоблит. Напугался я, опять хотел уснуть, с головой закутаться, а в это время в колокол на церкви ударили, кто-то под окошком закричал. Вскочила мама с кровати, а я лежу ни живой, ни мертвый, и язык у меня не ворочается. Гляжу без огня, сам ничего не вижу. Мама в избе бегают, спички ищет, чтобы лампу зажечь, а спички, словно нарочно, делись куда-то.

— Санька, Санька! — кричит мама мне. — Проснись скорее, сынок, случилось что-то у нас...

Слышу я, как она бегают, а подняться боюсь, и ноги у меня начали дрожать, и горло, будто веревочкой, перетянули мне.

Хочу-хочу сказать, что я не сплю, а голос будто не мой стал. Вдруг вся изба наша затряслась, зазвенели окошки, будто кто ударил по ним. Вскочил я босиком и давай кричать:

— Мама, мама!

Я ее ловлю за руку, не пымаю никак, она меня ловит за руку, не пымает никак, потому что в избе больно темно и сами мы с перепугу не видим ничего. Стукнулся я головой о косяк, мама ведро ногой уронила, по всему полу вода полилась. На улице собаки завывли, за стеной корова наша замычала. Совсем я не помню, как мама спички нашла, зажгла лампу, сама трясется вся, и я около нее дрожу. Мне бы делать надо чего-нибудь, а я и сам не знаю, чего мне делать. Мама кричит над головой у меня:

— Санюшка миленький, война начинается. Куда мы с тобой побежим?

Тут как трахнет на задах у нас, я инда присел маленько. Гляжу, прямо в дверь из сеней к нам бежит тетка Прасковья в одной рубашке и скалку держит в руке. Мама хотела чего-то сказать ей, а она как замахнет скалкой.

— Туши огонь! Казаки по избам ходят“...

Побежал Санька с матерью из избы, захватив чугунок с кашей, по дороге мать потерял, слышит—стреляют, забился на гумне в солому, поплакал, с горя каши поел, смотрит—уж светает. А около него народ. —

„Мужики с бабами сидят, ребятишки поменьше меня, и тут же зыбка повешена. Бабы плачут, мужики глядят молча. Потом старик Пронюшкин с нашей улицы подошел, увидал меня и говорит:

— Ты где бегаешь, парень? Ведь изба-то у вас сгорела.

— Как сгорела?

— Вот так и сгорела. Половину села смахнуло в одну ночь.

— А мама где?

— Там, на пожарище у себя.

Пришел я на то место, где стояла наша изба, а там одни головешки валяются, да печка с трубой торчит. На дороге против нашего двора убитая лошадь валяется, а еще подальше три человека вниз лицом лежат. Мимо меня прошел мужик с завязанной головой. Мама тихонько плакала“.

Кроме рассказов о детях, Неверов писал еще и рассказы для детей, и в этом труднейшем жанре также проявил большое мастерство. Он помещал их в детском разделе журнала „Работница“—„Малым ребятам“ и в „Крестьянке“. Большинство из них собрано в отдельной книжке: *„Новая детская библиотека. Младший возраст. Рассказы А. Неверова“*. Госуд. Издат. М. (1924). 5.000 экз. с оригинальными рисунками В. Киселева ¹.

Эти своеобразные миниатюрки-примитивы в своем роде очаровательны и показывают, какого исключительного детского писателя мы лишились в Неверове. Вот для примера два рассказа:

І. РЕВОЛЮЦИЯ.

Поехал отец в город и Мишу взял с собой. Приехали, а там народ ходит по улицам, песни поют. Заехали на одну улицу и выехать нельзя. Отец говорит:

¹ Также—издания Мириманова с бездарно-безграмотными рисунками некоего Б. Иогансона.

— Сними шапку, Миша, с флагами идут!

Миша спросил:

— А зачем они с флагами ходят?

Отец сказал:

— Революцию рабочие празднуют.

Снял шапку Миша, смотрит. Отец тоже без шапки стоит, лошадь под уздцы держит. А лошадь напугалась, так и шевелит ушами, метнуться хочет. Стал Миша флаги считать. Насчитал двенадцать штук, тут музыка заиграла... Лошадь как дернет! Не устоял Миша на ногах, полетел головой в передок.

После вот такая шишка вскочила на лбу, но он не заплакал. Приехал домой, начал товарищам хвалиться:

— Я революцию в городе видел!

Товарищи спросили:

— Какая она?

Миша сказал:

— Двенадцать флагов несли с разными кистями, и музыка играла в большие трубы...

II. БОРЬКИН РАССКАЗ.

Захотелось Борьке рассказ написать. Стал заглавие придумывать, а оно не выходит. Увидал галку на крыше, думает:

— Сейчас напишу.

Макнул перо в чернильницу, а галка улетела.

Рассердился Борька, губами шепчет:

— Все-таки напишу.

И стал писать рассказ без заглавия.

„Наша изба маленькая, в ней три окошка. В углу стоит печка, на веревочке висит рубашка. Я сижу один, на улице снег идет. Мне когда хочется, когда не хочется учиться. Я люблю рисовать и смотреть картинки в книжках. Делаю я еще ветряную мельницу, она у меня не выходит. Когда вырасту большой, буду учиться паровозы делать“.

Прочитал Борька свой рассказ отцу, отец сказал:

— Хороший рассказ, пиши еще¹.

Такие рассказы могли бы писать, кажется, только сами дети².

¹ Из других рассказов для детей отметим: „Электричество“, „Коллектив“, „Страшный замок“, „Коммуна“, „Ленин“, „Артисты“.

² Ср. коротенькую заметку А. Насимовича в сборнике „А. С. Неверов“, стр. 112 — 114. Характерно, что в качестве иллюстрации он приводит те же два рассказа. „Борькин рассказ“ Неверов потом переделал и несколько расширил.

5. „Разночинцы“¹
и рабочие
у Неверова.

Как уже говорилось, герои почти всех произведений Неверова — крестьяне. Представителей других сословий он выводит редко. Наиболее определенно могут быть выделены лишь две группы героев Неверова не-крестьян, это, во-первых, — учительство, во-вторых, — духовенство.

О Неверове, как изобразителе дореволюционного сельского учителя, уже говорилось выше. В революцию он отошел от учительства и рассказы стал писать на другие темы. Можно упомянуть лишь относительно бледные образы учителя Петунникова и учительницы Марии Кондратьевны в романе „Гуси-лебеди“ и любовно написанную повесть „Шкрабы“², посвященную изображению уже „советского“ учительства. Быт „шкрабов“ обрисован с характерной для Неверова яркостью. Как живой, встает перед нами „головтеевский учитель Сергей Иванович Пирожков“, который напевает вполголоса „Интернационал“ —

„и думает о том, насколько ему хватит табаку, если курить пятнадцать раз в день? Есть у него помидоры с огурцами и десять пудов ржаной муки, заработанной нынешним летом. Может быть, головтеевские мужики привезут во-время дров, вставят во-время стекла в худых перебитых окошках, поправят печь, а УОНО положит жалованья рубля четыре в месяц — тогда Сергею Иванычу можно жениться“.

А жениться он хочет на учительнице Катерине Васильевне, потому что —

„нет ни одной девушки лучше Катерины Васильевны. Нет ни одних глаз лучше вот этих, ни одной улыбки лучше этой. И все ему нравится в ней, решительно все: и характер, и сердце, и ум, и белый платочек на голове, и даже (это несколько не смешно!) — даже маленький пальчик-мизинчик с обкусанным ноготком, потемневшим от черной работы“.

¹ Этот термин употребляю, конечно, не в том специфическом смысле, в каком принято говорить о „разночинце“ в 60-х гг. прошлого столетия.

² Сборн. „Род“, № 3. М. 1924. Для недогадывающихся, что означает заглавие, поясню, что „шкрабы“ — это одно из тех нелепых сокращений, которыми злоупотребляли несколько лет тому назад; означает: „школьные работники“ — так тогда именовали учителей.

Но тут же его обуревают сомнения, и он пишет ей длинное письмо, в котором приходит к мрачному выводу:

„любить нам друг друга нельзя, потому что я не имею материальной возможности, чтобы содержать ребенка“.

Письмо, впрочем, было разорвано. Однако, объяснение состоялось на словах, но кончилось благополучно. Скоро последовала и свадьба — за самоваром; и „молодые“, — к великому неудовольствию попа Алексея, рассчитывавшего получить с них за „венчание“, — зажили вместе.

„Сидят они, будто два зайца на маленьком островке, в маленькой комнатке с двумя окнами на дорогу, смотрят в черное, осеннее небо над селом и думают о том, что необходимо выучить кое-что из Карла Маркса, познакомиться с „материализмом“ и работать вместе с коммунистами на общую пользу. Катерина Васильевна запрокидывает голову, экзаменует:

— Слушай, Сережа, ты помнишь, чем отличается республика Советов от буржуазной республики?

— Помню.

— Чем?

— Потому что буржуи там во главе с министрами, разные соглашатели, а у нас рабочая диктатура.

— А что такое Р. С. Ф. С. Р.?

— Это я знаю. Ты потруднее спроси.

— Ну, подожди! Кто был Плеханов?

— Плеханов-то?

— Да.

Оба смеются...“

Много было и тяжелого в их жизни — голод, холод, болезни перенесли. Но — это все ничего! Они бодры и радостны — празднуют с детьми „седьмое ноября“, организуют спектакли, процессии, разучивают „Интернационал“ и „Смело, товарищи, в ногу“, а на уроках Катенька не только учит ребят читать и писать, но и —

„рассказывает ребятишкам про Ленина, про Советскую республику, чем она отличается от буржуазной, разучивает Интернационал...“¹.

¹ См. Добавления, стр. 203—206.

Рассказы про попов составляют также весьма заметную группу произведений Неверова. Образы представителей духовенства — яркие, комичны и могут быть великолепно использованы в целях художественной антирелигиозной пропаганды.

Сельских попов, дьяконов, дьячков Неверов, живший долгое время по селам, знал великолепно: ему приходилось наблюдать их с детства, начиная от того попа Петрова, которого прозвали „курносым“ и который преподавал ему в школе „закон божий“, до ряда всевозможных „заведующих“, с которыми Неверову, в качестве учителя церковно-приходских школ, приходилось вести знакомство, чтобы „не испортить отношений“ и не лишиться места. В результате — он сумел нарисовать ряд ярких, колоритных фигур представителей сельского духовенства.

Попы — прежде всего приобретатели, смотрящие на церковь, как на лавочку, и чрезвычайно чувствительные к вопросам материального порядка: таковы наши сельские попы на 99%, если не больше, — таковы они и у Неверова.

Чагодаевский поп Поликарп Вавилонов прискакал на паре породистых лошадей к „отцу“ Никанору, — с этого начинается повествование в „Гусях-лебедях“, — и сообщает о начавшемся „гонении на духовных“:

„— В Мало-Березовом у священника Никопольского зарезали борова на двенадцать пудов, присвоили пару лошадей, стоящих семьдесят пять тысяч. У священника Длинноперова реквизи- ровали девяносто пудов белотурки, на о. Воскресенского в четвертом округе наложили двадцать пять тысяч рублей контри- буции. У дьякона Верхоглядова съели банку сахарного варенья, а у о. Куроедова отобрали рессорный тарантас, купленный в Казани, полдюжины чайных ложек, из которых одна золотая, и матушкину шубу на козьем меху...“

— Странная вещь. Неужели они не считаются с православием?

— Дело не в этом... Бог с ним и с православием, — гудел Поликарп. — Дело в том, что не сегодня-завтра такая политика может ударить и нас. Мой совет — кой-что рассовать заблаговременно...“ (Гл. I).

В рассказе „Поросенок“ остроумно передается курьезная ссора между попом и дьячком из-за пожертвованного попу для поминанья за упокой „раба божьего Яфима“ поросенка, на часть которого претендует дьячок.

Не менее курьезное соревнование между дьяконом и попом из-за того, к кому пойдет пить чай „комиссар“ — изображается в рассказе „Что из этого вышло“. Колоритные образы попов рисуются и в рассказах „Болезнь“ и „Земля и небо“. Нельзя не упомянуть еще и о пьесе „Смех и горе“, пользующейся большим успехом, в которой выведен яркий образ попа Хорохоренского и характерная фигура непокорного пьянчуги дьякона Светозарова, кончающего снятием с себя „сана“. Ряд сценок из духовного быта поместил Неверов и в „Крокодиле“.

Было бы не бесполезно собрать все „духовные“ произведения Неверова в одну книжку и издать их в параллель к „Отцам духовным“ Демьяна Бедного.

Представители других слоев населения попадают у Неверова лишь в виде единичных случаев. Так, можно выделить несколько рассказов, в которых явно сатирически выводятся „советские служащие“ — эти „черви, объедающие Советское древо“, как выразился Неверов в одном из своих писем¹.

Особенно любопытен рассказ „Кровать“. В нем довольно комично изображается рост симпатий к Советской власти у „советского служащего“ — в связи с различными получками.

Возвращается советский служащий Иван Григорьевич Тимкин домой радостный, так как „получил добавочное жалованье“ — целых двести тысяч. Происходит диалог с женой:

— Вот они... денежки-то!

— Какие денежки?

— Всякие... Жалованье увеличили нам...

— Как заботится Советская власть... А уж ее ругают... а что?

— Дураки! — оттопырил губы Иван Григорьевич. — Чай, это самая лучшая власть... Будь другая — получишь шиш...

— А раньше-то, Ваня...

— Ну, что же раньше? Я не знал тогда... Ошибался...“

Решили на полученные деньги купить кровать. После долгих стараний удалось достать ордер и, наконец, самую кровать.

„Через неделю, выкупанный потом, Тимкин тащил по тротуару, гремя колесиками, двухспальную кровать с лакирован-

¹ См. выше, стр. 72.

ными ножками, полученную из советского магазина. Губы расползались в улыбку, счастливые, отуманенные глаза ловили прохожих, поглядывавших на кровать.

— Где купил, товарищ?

— Через комитет... "

С восторгом развалился Тимкин на „советской кровати“, „спал крепко и видел во сне зеркало, купленное в советском магазине“.

„Утром опоздал на занятие, потягиваясь на кровати, а когда сел в канцелярии на свое место, сослуживец Сеньков сказал:

— Товарищ Тимкин, вы сочувствующий?

— Так точно! Стою на платформе...

— Значит, готовьтесь.

— Куда?

— Объявлена мобилизация...

В этот день Иван Григорьевич перепутал несколько отношений, часто хватал себя за виски... Домой дотащился с трудом.

...Посмотрел на новую двухспальную кровать со взбитыми подушками, сморщился, неожиданно выпрямился и с сердцем ударил кулаком по столу.

— Чортова к-коммуния!... "

В рассказе „Портфель“ изображается „сов-служащий“ рангом повыше. У него—отдельный кабинет с телефоном.

На стене—бумажка:

ТОВАРИЩИ!

ГОВОРИТЕ КОРОЧЕ, БЕРЕГИТЕ ВРЕМЯ.

А сам он болтает по телефону всякие пустяки.

„В два часа прием кончается. Мухин¹ быстро встает из-за стола с портфелем под мышкой, громко стучит каблуками по лестнице. Непринятые из очереди бегут за ним:

— Товарищ Мухин!

— Товарищ Мухин!

— Сделайте божескую милость!

— В чем дело?

— Из деревни приехали, концов не найдем.

— В губпродком, товарищи, в губпродком! Вы не сюда попали.

¹ Ср. выше, стр. 71.

— К вам посылают.
 — Кто ко мне посылает?
 — Снизойдите к нашему положению, товарищ Мухин!
 — Товарищи, вы понимаете? Ах, чорт возьми! Опять я опоздаю на заседание комиссии. Завтра, завтра!.. Не могу же я всех удовлетворить в один день..."

Не менее остроумен и рассказ „Милостивый Государь“, высмеивающий тупое „комчванство“. Комические фигуры „советских чиновников“ выведены в миниатюрках „Сильный характер“ и „Про него“.

В единичных случаях выводятся интеллигенты-писатели—в упоминавшихся выше рассказах: „Веселые ребята“, „Хлеб наш насущный“, и, наконец, рабочие—таковы рассказы о неудачнике поэте из рабочих — „Тишок“ и довольно любопытный „Случай из жизни“.

В последнем рассказе выводится „несознательный“ рабочий—Санька маляр, из железнодорожных мастерских, который сначала думал соединить революцию с религией, ходил в церковь, читал евангелие, но когда в городе стали избивать большевиков, и старик-священник плюнул в лицо убитого коммуниста, Санька обругал попа подлецом, за что сейчас же и поплатился: ему размоzzил голову бакалейщик Трунов. Умирая, рабочий говорит сыну:

— Саня, сынок, запомни это...

Любопытно, что Неверов, великолепно изображая крестьянство, как целое, как класс, совершенно не чувствовал, по крайней мере—творчески не передавал пролетариата, как целого коллектива. И в тех немногих рассказах, в которых он выводит рабочих, он рисует их, как одиночек, в семейной обстановке („Настенька“, „Изобретатель“) или в таких индивидуалистических устремлениях, как стремление к творчеству („Тишок“).

Он может нарисовать, напр., такую яркую и верную для быта 1919—20 г. картину:

„Все подрабатывали, живущие в комнатухах. Слесаря оттачивали зажигалки из советской меди, гнули проволочные шпильки, лили кольца, выделывали металлические мундштуки. Кто спекулировал щербоньем, «шильцем-мыльцем», а Павел

Данилович по целым ночам просиживал за стихами, упав головой над листочком бумаги...; —

или изобразить не менее жизненную картину домашнего быта того же Павла Данилова, этого своеобразного идеалиста-слесаря:

„Дома было невесело.

Наталья сидела понурая с маленьким на руках, тискала в рот ему синюю отощавшую грудь. Старший Сережка, простудивший ноги, лежал на кровати под старым худым одеялом и стонал, как старик. Павел вошел и остановился, не снимая пальто. Посмотрел на жену.

— Я хочу чаю. Наташа!

— Припас ты сахару-то?.. („Стишок“).

Он может правдиво передать семейную историю рабочего, жена которого оказалась слишком надкой на буржуазные „прелести жизни“ („Настенька“), или вывести пролетария-одиночку, рвущегося к свету и знанию среди мещанских условий быта („Изобретатель“).

Но он не мог, видимо, изобразить рабочего на фабрике (хотя и чувствовал своеобразную красоту фабрично-заводского труда)¹, на субботнике, на митинге, в ячейке. В этом сказалось, конечно, его классовое происхождение и отсутствие непосредственного общения с фабрично-заводским пролетариатом.

По отношению к другим классам Неверов мог лишь быть добросовестным и недурным, но все же случайным наблюдателем и, в общем, редко обращался к тем мотивам, которые были ему чужды и для которых он мало находил откликов в своей жизни².

¹ См. Добавления, стр. 203, о корреспонденции Неверова „По московским фабрикам“.

² Любопытно, что даже в таком рассказе, как „Кровать“, он отдельные элементы брал все же из своей жизни — кровать ему самому удалось получить, и он, действительно, обливаясь потом, но довольный, тащил ее домой. (Сообщено П. А. Неверовой). Только на призыв Советской власти к борьбе он отзывался не злобствованиями против „коммуни“, а тем, что написал рассказ „Я хочу жить“. Ср. еще ниже, стр. 188, сказанное о „Новом доме“.

IV

**Неверов — мастер.
Язык и стиль Не-
верова.**

Если общая значимость писателя, его роль в строительстве культуры может быть определена лишь при учете всего творчества его в целом и, прежде всего, тех идеалов, которым писатель служил, то при оценке писателя, как писателя, как художника, при определении степени его талантливости, первенствующее значение имеет (это—общеизвестно) не то, о чем он писал, а то, как он писал—его мастерство. Чем выдержаннее, ярче, оригинальнее стиль писателя — тем выше он, как художник, и, наоборот, чем бледнее, неряшливее, неоригинальнее его язык — тем меньшая величина он в литературе, как искусстве.

Неверов выдерживает в этом смысле самую строгую критику. Тем, кто склонен думать, что Неверов — писатель второстепенный, что его значение, как художника, „раздули“ (есть и такие мнения; полагаю—потому, что высказывающие это мнение товарищи не дали себе труда, как¹ следует, ознакомиться с лучшими произведениями Неверова), — тем надо обратить особое внимание на исключительно яркий, оригинальный, *свой* стиль и язык Неверова, по которому его писания узнаешь среди сотен других современных авторов.

Язык Неверова силен, меток, колоритен, подлинно народен.

В одной из своих недавних статей Н. К. Крупская великолепно формулировала требования, которым должна удовлетворять народная книга.

„Прежде всего, — пишет Надежда Константиновна, — она должна быть написана просто, т.-е. без иностранных слов, с возможно меньшим количеством придаточных предложений, причастий и деепричастий. Язык должен быть как можно ярче и образнее. Но необходимо, чтобы язык был образен не вообще, а был пропитан образами, близкими читателю...“¹

¹ Н. К. Крупская. „Какая книга нужна деревне“ — „Правда“. 1924, № 90, от 19 апр.

Всем этим ленинским¹ требованиям идеально удовлетворяет язык Неверова, хотя Надежда Константиновна, когда писала свою статью, вероятно, не думала о нем.

Неверов пишет просто, без иностранных слов. Фразы у него короткие, в большинстве случаев без придаточных предложений, причастий и деепричастий. Язык ярок, образен и конкретен. Он излагает свои мысли образами, близкими народному пониманию, а не отвлеченными рассуждениями. Если к этому прибавить еще, что Неверов щедрой рукой черпает краски из «сокровищниц народно-поэтической речи, то характеристика особенностей его стиля будет, в основных чертах, полной. Подтвердим это примерами.

Одна из характерных особенностей стиля Неверова — краткость и четкость фразы. В этом смысле очень интересны его описания природы:

„Ехали ржаными полями. День солнечный. Небо голубое. Тишина“. („Без цветов“).

Или так:

„По высокому небу пробежала синяя тучка, зацепила солнышко одним боком, бросила легкую тень“. („Ташкент—город хлебный“).

Или вот одно из самых длинных:

„В лунном свете горят верхушки деревьев над речкой, мелкими стайками бегут облака. В траве ночной бродят собаки по гумнам, нюхая теплый пряный воздух тонкими носами, злобно лают на рогатый месяц, разрывающий темные тучки. Сонно бьет церковный колокол двенадцать раз, вскрикивают гуси на речном берегу.

Ночь“. („Повесть о бабах“).

Очень любит Неверов — в стремлении к максимальной краткости — предложения из одного слова, которыми он

¹ Я думаю, что мысли Надежды Константиновны как раз формулируют мнения Владимира Ильича по этому поводу. Ср. слова Клары Цеткин в ее воспоминаниях о В. И. Ленине, что он, произнося речи, по его словам, прежде всего думал о том, чтобы быть понятным рабочим и крестьянам.

обычно начинает или заканчивает рассказ или главу и которые часто выделяются в особый абзац.

„Будни“. („Новый дом“, гл. 5).
 „Скорбь“. („Тишина“).
 „Тихо“. („Черная кошка“).
 „Штука“. („Андрон непутевый“, гл. 10).
 „Кабинет...
 Полдень...
 Звон.
 Крики.
 Музыка“. („Портфель“).
 „Скучно“. („Яшкина скука“).
 „Вечер.
 Небо.
 Степь...
 Тишина.
 Страх...“ („Гуси-лебеди“, ч. II, гл. 7).

И т. д.

Часто абзац состоит из одного предложения, в котором всего два слова:

„Мать пила“.
 „Многое понял“. („Я хочу жить“).
 „Санька пил“. („Случай из жизни“).
 „Думает Гурьян“.
 „Мерин останавливается“.
 „Гурьян просыпается“. („Полька-мазурка“).
 „Клавденька слушает“.
 „Парфен торжествует“. („Музыка“).

Очень часто предложение или два под-ряд в одно слово начинают абзац, а затем следует более длинная фраза:

„Город. Окраина. Дохлые кошки с собаками, немощная улица с навозными кучами“. („Случай из жизни“).
 „Осень. В садах пусто, на дворе скучно“.
 „Волга. Лодки у берега чмокают“.
 „Ветер. Театр. Горит большой фонарь“. („Колька“).
 „Ветер. Низкие осенние тучи. Поезд ползет с уклона на уклон“. („За хлебом“).
 „Ночь. В открытые люки товарного вагона льется голубоватый свет фонарей на стрелках“. (Там же).
 „Станция. Теплый, погожий денек“. (Там же).
 „Мрак. Дует из сеней в приоткрытую дверь“. („Тишина“).

¹ Иногда этот прием приобретает у Неверова уже характер своего рода „штампа“ — см., напр., стр. 204, статью „У сельских учителей“, где эти абзацы из одного слова („Пустошь“. „Сон“. „Тоска“) явно психологически не оправданы.

Можно еще отметить характерный прием, которым любит начинать Неверов: первое предложение — в одно слово, второе — в два, третье — в три или в несколько:

„Вечер. Канун воскресенья. В церквах звонят ко всеобщей“ („Хлеб наш насущный“).

„Поле. Налево — сады. Хороший осенний денек с паутинами“ („Колька“).

„Кабинет.

Дубовый стол.

Под столом плетеная корзина...“ („Портфель“).

„Утро.

Седьмое ноября.

Падает пушистый снежок...“ („Шкрабы“).

Можно отметить случай и обратного распределения слов (три — два — одно) в конце рассказа:

„Падает мокрый снежок. Вечер спускается. Слякоть...“ („Поросенок“).

Без придаточных предложений Неверов часто умеет обходиться на довольно больших пространствах речи. Вот характерный пример неверовского описания:

„Село наше маленькое, темное; народ небывалый. Живут больше слухами. Газеты совсем не доходят. Заблудится какая — сейчас на цыгарки. Это, говорят, не нашему брату. Как мыши в норе живут — свету мало“ („Комитет“).

Или:

„Озорник был Гришка. Мать так и говорила про него: — Силушки моей не хватает.

Ругался по-четыреэтажному. Идет по улице — ветер взад. Свищет, собак по ногам лупит, стариков со старухами передразнивает. Мимо школы пройдет, на стену плюнет. В исполком волостной заглянет — бумажку со стены сорвет“ („Капли против озорства“) ¹.

В связи с этим стремлением к максимальной краткости, к возможнейшей экономии изобразительных средств, можно отметить умение Неверова, часто одним штрихом, чуть ли не одним словом рисовать целый образ. Напр.:

¹ Ср. выше, на стр. 92, цитату из рассказа „За хлебом“.

„Яшка с Максимкой смотрят на барыню с ридикюлем. Барыня говорит военному скороговоркой:

— Ужас. Ужас...

...Барыня сыплет горошком, играя глазами с военными:

— Ужас. Ужас. Кошмар какой-то“. („Колька“).

Только и всего, а между тем образ этой „барыни“ встает перед читателем, как живой.

Далее, одною из отличительных черт неверовской речи является ее образность и ближайшая родственность народно-поэтическому языку.

Неверов очень любит сравнения, яркие, конкретные:

„Сидит Михайла на заваленке, голова—мешок с песком“. („Андрон непутевый“).

„А Михайлино сердце — кувшин, налитый горячей водой“. (Там же).

„А в музыку-пьянино, словно лента алая в косу русую, вплетается голос Маринки“. („В садах“).

Часто встречаются характерные для народной поэзии сравнения, выявленные через посредство творительного падежа (по типу—„серым волком“, „быстрым соколом“, „щукой-рыбою“ и т. п.):

„Вечер кошкой ползет...“ („В садах“).

„Словно ветром-бурею ударяет кровь Симону в омраченную голову“. (Там же).

„Села кошкой и давай заигрывать“. („Полька-мазурка“).

„Вышел Ледунец из переулка кошачьими шагами...“ („Гуси-лебеди“).

„Легла Наталья на солому играющей кошкой“. (Там же).

„Маленьким ребенком становится тогда Федякин...“ (Там же).

„Растет оно (горе) травой некошеной, лежит оно тропой нехоженой. („Андрон непутевый“).

Попадают и не менее характерные для народной поэзии отрицательные сравнения и обороты речи:

„Не земля вертится и не люди прыгают: в глазах у Мишки помутилось, голова Мишкина вертится во все стороны“. („Ташкент — город хлебный“).

„Нет, это не кузнецы: Маринка смеется... „Нет, это не яблоко; сердце стучит под рубашкой“. („В садах“).

„Не летают журавли над полями, не висит тонкая паутина...“ („Шкрабы“).

Широко пользуется Неверов и приемом параллелизма, для народно-поэтической речи не менее типичным:

„Растет трава крапива—кому нужна.

Растет печаль мужицкая — кому нужна“. („Андрон непутевый“).

„Одна в избу, одна из избы“. (Там же).

„На войну пошел—горе отцу с матерью, и с войны пришел — горе отцу с матерью“. (Там же).

„В брюхе Андрона носила бабушка Матрена—горе. На руках носила—горе. Теперь сам ходит — опять матери горе“. (Там же).

„В больницу двадцать верст—из больницы двадцать верст“. (Там же).

„Трепыхались сонные птицы в ветвях—трепыхалось Маринкино тело. Шептали шорохи ночные вокруг шалаша — шептала Маринка в Симоново ухо“. („В садах“).

„Поглядел Каюков в темные застывшие глаза Матрены... Понял: ненавидит его баба вековым мраком застывших глаз...

Поглядела Матрена на прапорщика Каюкова, поняла: ненавидит ее этот барин, нахмуривший брови...“ („Гуси-лебеди“).

„Туда две тысячи верст, оттуда две тысячи верст“. („Ташкент—город хлебный“).

„С тобой случится чего—я помогу. Со мной случится—ты поможешь“. (Там же).

„Туда, самое много, четыре дня, оттуда, самое много, четыре дня“. (Там же).

„Направо — невиданные вещи, налево — невиданные вещи“. (Там же).

„Прибежал на станцию, а Сережки нет. Прибежал на то место, где Сережка упал, и места того нет“. (Там же).

„Размякла корочка сухая в воде, размякло и Мишкино сердце от большого взволновавшего чувства“. (Там же).

„Горит соломенная крыша над кроватью, горят плетни по бокам, горит белый день—разгорается“. („Андрон непутевый“).

Любит Неверов и былинно-поэтическое число „три“:

„Три слова — три гвоздя. В сердце одно, в голову одно, в руки-ноги одно“. („Андрон непутевый“).

„Под горой три дерева, грозой опаленные. Не шумят листья, не радуют. Нет на деревьях зелени зеленеющей, нет на деревьях волнца играющего. Мрачно стоят три дерева, грозой опаленные. Погнулись три судьи, словами напуганные“... (Там же).

Постоянно прибегает Неверов к весьма характерному для него (и тоже восходящему к народной поэзии) приему повто-

рений, при чем обычно повторяются целые фразы часто на большом расстоянии, иногда слово в слово, иногда в немного измененном виде, приобретая характер как бы своего рода рефрена, напр.:

„Пресвятая владычица-матушка, сохрани непутевого сына Андрона“—молится Андропова мать в 1-й гл.; 12-ая гл. заканчивается её же словами: „Господи, прости непутевого сына Андрона!“—это как бы особый „лейт-мотив матери“.

Или так:

„А Тоня (бывает это с каждым человеком) после всех и влетела в Гурьянову голову маленькой пичужкой“—читаем в 3-ей гл. рассказа „Полька-мазурка“; в 4-ой же главе попадает такая фраза: „А из блюда на него (это бывает с каждым человеком)—из блюда на него поглядела Тонина кудерка, выпавшая из-под беленького платочка...“ („Полька-мазурка“).

Или еще:

„Идет Маринка в подоткнутой юбке *губпродкомскими* горохами, Ескин, Иван Кондратьевич... сидит по-турецки на *разостланном пиджаке*“...;

и несколько ниже:

„Иван Кондратьич, *сидя в губпродкомском горохе на разостланном пиджаке*, смотрит на зайца“. („В садах“).

В народной поэзии известен прием повторения целых фраз или ряда их, когда одна и та же речь повторяется в различных обстоятельствах, напр.—когда передается слышанное или с одинаковым поручением обращаются к разным лицам. Тот же самый прием встречаем и у Неверова.

Слышит Мишка, как мужики про Ташкент разговаривают:

„Хлеб очень дешовый там, только добаться трудно. Туда две тысячи верст, оттуда две тысячи верст. Без денег нельзя, за билет надо дать и за пропуск надо дать“.

И матери рассказывает:

„Город есть такой, — две тысячи верст отсюда, и хлеб там больно дешовый“..., а сам соображает:

„Рай. А попасть трудно: билет нужен, пропуск нужен“.

Сережку уговаривал ехать, говорил:

„Туда, самое много, четыре дня, оттуда, самое много, четыре дня“;

мать стал уговаривать — те же слова говорит:

„Туда, самое много, четыре дня, оттуда, самое много, четыре дня“.

Любопытно, что этот прием встречается и в одном из самых ранних рассказов Неверова — „Музыка“; о стороже Парфене говорится, что он —

„непременно бранит управляющего Михал Михалыча, его жену, детишек, конторщика Оську, старую барыню, Клавденьку, тетю Аню и всех господ, которых знает и не знает“, —

и через страницу вновь читаем, что он, Парфен —

„будет... бранить Михал Михалыча, его жену, детишек, конторщика Оську, Клавденькину мать, Клавденьку, тетю Аню и всех господ, которых знает и не знает...“¹

Кроме того, речь Неверова очень ритмична, что особенно заметно в произведениях последних лет. А. С-вич, как уже говорилось выше, в последнее время жизни мечтал о произведении в былинном духе, о своего рода эпосе. Она осталась не написанной, но многое из того, что было создано в последние годы Неверовым часто сбивается на какой-то полубылинный „сказ“:

„Из канав вылезали, / из-за стён выползали / — босые, рваные, / дождями промытые, / ветрами продутые... /

Тяжело дышат мужики, отдуваются. / Руки дрожат, ноги дрожат, / глаза от страха выворачиваются“. („Ташкент — город хлебный“).

„Улегся ветерок, успокоился. / Пошумели воды поднятые, / легли в берега. / Вышел месяц ночью темной, / одиноко глядит из чёрного облака: / на поля пустынные, / на деревни дальние, / на деревни ближние. / Торчат трубы обгорелые, / слышатся жалобы тихие“. („Андрон непутевый“).

¹ Можно еще отметить такие характерные для народной поэзии выражения, как напр.: „Ходит кровь по косточкам, переливается“. („Андрон непутевый“, гл. 4); или такой чисто народно-поэтический „зачин“:

„День идет, неделя идет — Андрон богу не молится“. (Там же, гл. 5-ая).

„День идет, неделя идет — Андрон испортил лошадь“ (гл. 7);

или такое обращение к светилам и к неодушевленным предметам:

„Ты, солнышко, не свети — этим не обрадуешь.“

И ты, колокол, напрасно на церкви звонишь...“ („Ташкент — город хлебный“).

Или в „Такшенге“: —

„Охватили степи киргизские тишиной и простором, крепко стиснули старый расхлябанный паровоз, не пускают вперед. Вертит стальными руками он, будто на одном месте крутится, голосом охрипшим помощи просит. Задыхается, пар густой пускает, как белое облако. Тает белый пар, черным дымом из трубы заволакивается. Тукают колеса, дрожат вагоны.

Не пускают вперед степи киргизские, тишиной и простором держат изогнутый хвост. Только под гору бешено срывается паровоз, крутит головой на поворотах, надвое переламывается, змеей тонкой извивается. Давит мосточки играющими колесами, фырчит, задорится, локтями светлыми проворно работает. Выскочит на бугорок, словно заяц испуганный, и опять по-старичьи с натугой тащит длинный примороженный хвост“.

Встречаются такие ритмические периоды, хотя и реже, и в ранних произведениях Неверова, напр.:

„Откликнулось ближнее поле, щёлкнул надречный берег с песчаными провалами, где змеей извивается седая Нарзанка. В диком танце скачет сумасшедший ветер, разрывает крылья ночи и вопит подстреленной волчицей“. („Егорка родился“).

В последние же годы почти в каждом произведении Неверова слышится этот песенный сказ, который хочется разбить на стихотворные строки.

„Ложится он посреди дороги вниз лицом,
рядом шапчонка упала...
Дождевые тучи висят черным пологом,
разрываются неровными кусками...
Вспыхивают красные полосы на западе,
путаются рыжие волосы на солнечной голове“... —
(„Гуси-лебеди“)

и который порою напоминает „Слово о полку Игореве“, напр.,

„Скачут бочки пожарные, гремит насос с кишкой неработающей“.

„Трубы торчат обгорелые, слышатся жалобы тихие“. („Андрон непутевый“).

Или: „Заливаново поросло небылицею, как плохо обработанная десятина“... („Гуси-лебеди“). И т. д.

Далее, одною из основных особенностей неверовского стиля надо признать его яркую действенность, динамичность и, в связи с этим, резко выраженную глагольность.

Иногда Неверов даже совсем старается обходиться без подлежащего, охотно „подразумевая“ его, где это только возможно. Один раз или дважды названный субъект уже потом не называется. Напр., в пятой главе 1-ой части „Гусей-лебедей“ читаем про дьякона:

„Дьякон проснулся рано... Рядом на кровати лежала дьяконица. Дьякон прилег было на грудь к ней, но тут же усовестился. Быстро *отвернулся, начал скоблить* волосатые икры, заворотив исподники, *поплевал* на руки, *закурил, посидел, стал одеваться*. Тоска. *Надел чулок наизнанку — испугался*. Дурная примета... *Вышел на двор, осмотрелся... Потянулся на зады. Обошел два раза вокруг амбарушки, в которой хранилась собранная по селу пшеница, потрогал замок на двери...*“

Или:

„В арестантской сидела Матрена, *вздрагивала* мелкой непривычной дрожью, мутно *глядела* на черные загаженные стены. *Слышала* голос за стеной, топот лошадиный, мысленно *прижимала* ребят, оставленных дома, *плакала* сухими, проплаканными глазами...“ (Там же, ч. II, гл. 11).

Или еще:

„Иван Гаврилыч долго не знал, что делать... *Думал, думал — благословился...* Начал *заманивать* московских, владимирских, тамбовских с длинными мешками. Целую неделю *водил* через задние ворота по узенькой тропинке... Когда *заглянул* в кожаный кисет... *Не знал, сколько денег в кисете, пересчитать не решался...* От нетерпенья *начал качаться*, как маятник. *Выходил* в сени, *шатался* по двору, снова *шел* в избу, точно хворый, *ложился* на печку...“ („Десять тысяч“).

Без подлежащего вообще-то, конечно, удастся обходиться сравнительно редко, но зато глагол выдвигается Неверовым почти всегда на первое место в прямом и переносном смысле.

Вот обычное построение неверовских фраз:

„*Улеглись* поля на покой, *вздрагивает* ветерок, *пробираясь* деревьями. Яблони *переговариваются* листьями...“ („В садах“).

„*Легло* большое человеческое горе на маленького Мишку, *придавило, притиснуло*. *Упал* лицом он между шпалами, *вывернул* лапти с разбитыми пятками и *забился* ягненком под острым ножом“. („Ташкент — город хлебный“).

„Выпрыгнул Мишка из паровоза, перекинул чулки через плечо, оглянулся, еще раз поклонился товарищу Кондратьеву“. (Там же).

„Ржали лошади, звенели пилы, поблескивали топоры... Не увернулся младший Лизаров — ударил его осокорь верхушкой по голове, охватил распростертого на земле огромными зелеными руками. Метнулся старший Лизаров...“

Ржали, бесились мужики, всхрапывали лошади, ломались оси, испуганно кричали грачи над разоренными гнездами... („Гуси-лебеди“).

„Разбушевалось черное море, разыгрался волосатый ветер. Понеслась волна вдоль по улице...“

„Билась мужицкая жизнь в мертвой захлестнутой петле, искала ненайденное...“

„Встали лошади, встала конная молотилка, не машет длинным кнутом погоняльщик-мальчишка. Застыла взъерошенная солома, не успевшая вылететь из барабанной глотки, остыли железные зубы“. (Там же).

„Вьется в руках у Мелехи Анютка... Шумят деревья потревоженные... Уходит Игнашка с черной соблазнительной головой... Шагает по лунным дорожкам..., ищет путанный девичий след...“ („В садах“)

„Навалилось на Аннушку горе совсем неожиданно. Прожила с Петром восемь месяцев и не было между ними ни единого темного пятнышка...“ („Горе-горькое“).

„... Плакали бабы, скулили ребята, злобно ругались мужики, а паровоз из депо не приходил...“ („Ташкент — город хлебный“).

„Падает первый снежок двадцать восьмого октября, ударяет предзимний морозец, вяжет, кует жидкую грязь...“ („Шкрабы“).

И т. д., и т. д. — почти на каждой странице.

Можно выделить еще характерный прием глагольно-опоясанных фраз, которые и начинаются и заканчиваются глаголом, напр.:

„Гладит шершавым пальцем Анюткину ногу в траве, пожимается“.

„Лежит он в темном соломенном шалаше, сердито плюется...“

„Легла Маринка на спину Симону, обняла горячими руками, насквозь проколола девичьим телом, шепчет...“ („В садах“).

„Оглянулся Сережка во все стороны, а Мишка рассказами страшными мучает...“ („Ташкент — город хлебный“).

В отдельных случаях Неверов относит сказуемое и на конец фразы:

„Страшным, неразрывным кольцом окружена“. („Гуси-лебеди“).

„На глазах голубая повязка была... Молодое прекрасное тело я видел“. („Отрывной календарь“),—

а подлежащее или слово логическим ударением, наоборот, в начало фразы (прием, также восходящий к народно-поэтической речи, особенно к сказочному стилю):

„Лошадь целой осталась, и колесо валяется на прежнем месте“. („Гуси-лебеди“). „Свиньи подходили—нюхали Григорья Кручину—лежит. Собаки тывкали над взъерошенной головой—лежит. Вот какая забористая самогонка. Баба будила—не разбудила. Мужики будили—не разбудили...“ („Аппарат“).

„Дела в волостном исполкоме вывернулись наизнанку, канцелярский порядок опрокинулся“. („Гуси-лебеди“).!

„Куском глиняным развалилась жизнь...“

„Маленьким ребенком становился тогда Федякин...“ (Там же).

Наконец, весьма характерной синтаксической особенностью стиля Неверова является постановка определения после определяемого:

„Симон говорит голосом смирения своего“.

„Стрижот глазами цыганскими тени бесшумные“. („В садах“).

„Падает слеза незаметная“.

„По глазам ударила рубашка красная...“ („Андрон непутевый“).

„Будут Яшкины губы шептать слова надоевшие...“ („Яшкина скука“).

„Лежат мужики—развалились, покоем охваченные, сытыми мечтами окутанные. Мирно торчат бородавки поднятые...“

„Хотел Мишка на двор пойти, посмотреть хозяйство оставленное...“

„Вскочил Мишка непонимающий...“

„В худую крышу сарая залетел воробей уцелевший...“

„Задумался и Мишка... Поднял дугу почерневшую...“ („Ташкент—город хлебный“).

„Пролетели птицы ночные, бесшумно скатилась звезда с горы небесной, легла тишина, душу сжимающая...“

„Крепко спали бугры полевые...“ („Гуси-лебеди“).

„Дрожит пыльца воздушная голубым кольцом... головой отрезанной качается лампада стеклянная на грязных шнурках...“

„Низко висит борода побелевшая...“

„Зацелует губами голодными Анна Поликарповна Гаврилу Петровича...“ („Повесть о бабах“).

Все эти особенности, делающие речь Неверова такой оригинальной, характерны, конечно, своею совокупностью.

По отдельности они встречаются и у других писателей. Напр., постановка определения позади определяемого очень характерна для Гоголя, также для Л. Андреева; у последнего встречается и прием отнесения глагола на начало фразы, приемы повторения, параллелизма и некоторые другие¹.

Но у того же Л. Андреева эти приемы комбинируются с рядом других, что создает своеобразный, андреевский стиль, в целом совершенно не похожий, разумеется, на неверовский, крестьянско-народный стиль, хотя отдельные элементы и совпадают. У Неверова эти же элементы оказываются в других комбинациях. И если у Андреева стиль часто напоминает библейский, в некоторых произведениях становясь условно-символическим, то у Неверова, как уже было сказано, отличительным свойством стиля оказывается его народность. Само собою разумеется, что стиль Андреева выявляет собою психологию определенных общественных слоев — части мелкобуржуазной дореволюционной интеллигенции; стиль же Неверова восходит к иному коллективу — к сознательному трудовому революционному крестьянству.

Как умный мужичок „себе на уме“, Неверов любит „прикинуть умом“ в трудных обстоятельствах.

Слишком часто русскому крестьянину приходилось бывать в положениях очень трудных, даже безвыходных, которые и создали пословицы вроде: „куда ни кинь — все клин“ и ряд характерных оборотов речи, по типу: „и так плохо, и эдак нехорошо“.

Такие обороты — одни из любимых у Неверова: его герои (или автор за них) очень любят рассуждать, в трудных обстоятельствах прикинуть умом и так и эдак, и в конце концов сами не знают часто, как поступить:

„Раньше дьякон прислонился к зажиточным, теперь — опасно. Если пойти с бедняками, кабы хуже не было... И не пойти, кабы хуже не было“. („Гуси-лебеди“).

Муж „Марьи-большевички“ рассуждает:

„Побить хорошенько — уйдет... Волю дать во-всю — от людей стыдно...“ („Марья-большевичка“).

¹ См. мою книгу: „Проф. Н. Н. Фатов. Л. Андреев. Очерк жизни и творчества“, глава IV-ая (подгот. к печат.) и вступит. статью к собр. избранных рассказов Л. Андреева (под редакцией А. В. Луначарского и моею), ГИЗ, М. 1926

Рассуждает* и Симон, когда ушла от него и Маринка и жена:

„Если за Лукерьей бежать, чтобы вернулась — сады оставить нельзя: воры. Если на яблоню высокую залезть, чтобы тоску свою грохнуть оттуда — убиться можно...“ („В садах“).

Рассуждает старик Михайла — Андронов отец:

„Сына ломать — силы нет. Себя ломать — от людей стыдно...“ („Андрон непутевый“);

таковы же рассуждения и Мишки в „Ташкенте — городе хлебном“:

„Хлеб очень дешовый там, только добраться трудно. Туда две тысячи верст, оттуда две тысячи верст¹. Без денег нельзя: за билет надо дать и за пропуск надо дать...“

Любопытна также и та наивная конкретность, с которой мыслят неверовские герои — крестьяне, напр.:

„...генерал, который в Сибири поднимается, прямо сказал: — На хлеб — цена, на овес — цена. Кто бесплатно возьмет, под суд на четыре месяца“. („Андрон непутевый“, гл. 23).

Или:

„Аннушка, милая, поцелуй два раза покрепче“... (Там же, гл. 4).

Или:

солдат Сергунька пишет с фронта в деревню, чтобы не шли за с.-р-ой партией:

„стакнулась она с помещиками и хочет воевать еще *четыре года*“. („Гуси-лебеди“).

Характерно — „мужицкий“ у Неверова и юмор, сводящийся обычно к меткому наблюдению и к крепкому словцу. Это свойство Неверова сказалось с самых первых его рассказов. Он как-то умеет всегда оживить свое повествование введением тонкого, живого штришка; напр.:

¹ Ср. в „Андроне“: „В больницу — двадцать верст, из больницы — двадцать верст“, и в том же „Ташкенте“: „Туда, самое много, четыре дня, оттуда, самое много, четыре дня“.

„Старый гнедко, опустив голову, стоял недвижимо. Напрасно грязнорылая свинья старалась вывести его из меланхолии, роясь у него под ногами — гнедко не замечал, или замечал, да не хотел связываться... В другое время, когда он был моложе, он бы здорово съездил ей копытом по морде, а теперь не то... ослаб“. („Горе залили“).

Или так:

„Выступил¹ Захар Беляков. Недавно он был „неверующий“, рассказывал мужикам, что нет никакого бога — выдумка одна. Ел молоко в постные дни, смеялся над попом Никанором, за стол садился в шапке. После обеда говорил жене страшное слово: — Пардон.

Принес его со службы — очень уж понравилось. Что знало — и сам не знал. Баба слушала и тоже не понимала. Думала, бога ругает“. („Гуси-лебеди“, гл. 17).

Умеет во-время Неверов вернуть и чисто-народную шутку, вроде такой:

„Нынче и кошки не похожи на кошек: с хитростью пошли. От людей и на тварь перекинулось“ („Повесть о бабах“),

или:

„Деньги больно дурацкие стали: одна палочка — шесть кружков; считать на них — пальцев не хватит“. (Там же).

Наивностью чисто народного примитива звучат у Неверова иногда и довольно рискованные описания, которые он умеет излагать с какою-то поистине не то „библейскою“ не то пушкинскою простотой.

Взять хотя бы такую сценку из „Ташкента“:

„К вечеру (Мишке) захотелось „на двор“, но выходить нельзя.

Стиснул Мишка зубы, начал в себя надувать, инда пузырь в кишках готов лопнуть. Воды много выпил, дурак, на той станции, а больше терпеть — испортиться можно.

Долго крутился Мишка, поджимая живот: и в себя надувал, и дышать переставал, зубы стискивал — никак нельзя больше терпеть. Огляделся кругом — народу немного. Только две бабы спиной к нему сидят, да мужик в углу поет „Иже херувимы“.

¹ С благочестивыми речами. Н. Ф.

Прислонился плечом к дверям Мишка, будто на станцию глядит, и давай потихоньку пускать, чтоб не шумело...

— Слава богу, все!

Едва ли кто другой из серьезных писателей решился бы, а главное, сумел бы так рассказать о таких вещах ¹.

Или такая еще картина:

„Жили-были мужик да баба. Баба щи варила, мужик дрова колол. Оба беспартийные. Однажды баба говорит мужику:

— Сделай мне ребеночка на утешенье.

Ну, мужик охотливый был. Забрался под дерюгу ночью и давай пыхтеть. Пыхтел-пыхтел — баба дуться начала.

— Слава тебе, господи. Будет теперь утешенье под старость...“ („Косомол“) ².

Народностью и „мужиковатостью“, если так позволительно выразиться, объясняются и некоторые характерные особенности речи Неверова, которые порою переходят почти в неправильности. Как уже было выше отмечено, Неверов был достаточно грамотен, но он любил некоторые простонародные, неупотребительные в литературном языке, словечки и всегда употреблял их. Таково, напр., слово „*маленько*“ — одно из самых любимых Неверовым. Его он, во-первых, постоянно вкладывает в уста действующих лиц:

... „пить захотелось *маленько*“, — рассказывает мальчик („Как у нас война была“);

„Шагай *маленько*, шагай“ — говорит Кондратий учителю Петунникову в „Гусях-лебедях“;

„Какой я *большевик*? Так, погорячился *маленько*“ — говорит тот же Кондратий;

¹ Я не имею в виду, конечно, хулиганских выходов некоторых современных поэтов, упражняющихся в подборе „неприличных“ слов. В том-то и дело, что у Неверова ничего „неприличного“ не получается, а рассказано все с изумительной простотой, с простотою самой жизни, так, как говорят об этом дети, как говорят крестьяне, как говорит народная поэзия, как говорят гениальные народные примитивы.

² Сравнить с этими строками во всей русской литературе можно разве только пушкинское стихотворение: „Нет, я не дорожу мятежным наслажденьем“, проникнутое, правда, иным настроением, но аналогичное по исключительной, „библейской“ простоте в изображении очень „рискованных“ положений. Это стихотворение, как известно, заставило старика С. Т. Аксакова восторженно воскликнуть: „Как он об этом рассказал!..“ То же восклицание можно применить и к Неверову.

„Я вот теперь вижу *маленько* — никто не виноват“ — рассуждает собирающаяся учиться на рабочем факультете вдова Марина про деревенскую темноту („В путь-дорогу“); и т. д.

Но характерно, что Неверов употребляет очень охотно это слово и в тех случаях, где он говорит от себя или от лица невидимо присутствующего рассказчика, напр.:

„Гурьян не оправдывался. Ошибся *маленько* он, сам понимает“ („Полька-мазурка“);

„Хорошо легли Мишкины мысли, по-хозяйски.

Маленько полегче стало“ ...

„Устал. Сел около вагона отдохнуть *маленько*...“

„Обрадовался *маленько*, а с площадки человек смотрит сердитыми глазами...“

„Раньше бы Мишка рассердился, но теперь просил он не от голода, не от пустых голодных кишок — *маленько* озорничал...“ („Ташкент — город хлебный“) ¹.

Употреблял А. С-вич это слово и в письмах и в разговоре.

Любил он также слово — „*гармонь*“ и всегда употреблял его в этой форме:

„Надсажается чья-то *гармонь*...“ („В IV классе“);

„Около агит-пункта играла *гармонь*...“;

„*Гармонь* перешла на камаринскую...“;

„Играла *гармонь*, плясал веселый мужик“ ... („Ташкент — город хлебный“);

„Пели девки в улице, играла *гармонь*“ („Гуси-лебеди“);

„... свадьбы, вечера, девичьи посиделки, песни под *гармонь*...“ (Автобиография) ².

¹ См. выше, цитаты на стр. 53, 104, 119, 130, 154.

² Из прямых неправильностей укажем на, правда, редкое, но все же не случайное употребление Неверовым формы „*делов*“: „В дому стало пусто. *Делов* не было („Новый дом“); „*Делов* в канцелярии сравнительно не много“ — письмо к И. Е. Лаврентьеву от 20 янв. 1915 г. (ср. выше, цитаты на стр. 52, 57, 128); — а также такие выражения, как „сыпятся“, „мучают“, „одел“ вместо „надел“ и пр. Любопытно употребление в переписке чисто народной формы „*голодую*“, „*голодует*“ — см. „голодаю — ает“: „Живу — потихоньку-полегоньку. *Голодую*“ (Письмо к А. К. Гольдебаеву от 24 янв. 1921 г.); „Милый дед, помогите вытащить Ярового... Он погибает здесь, *голодует*“... (к нему же, от 31 мая 1921 г.); а также (очевидно, по аналогии) — „*печатую* — уют“: „Я вам послал в одном письме рассказ „Марья-большевичка“... *Перепечатуйте* его на машинке...“ (К нему же от 28 дек. 1921); „А что „Страшные вести“? Взял их Литер. фронт? *Напечатуют*?“ (К нему же, от 19 марта 1922). Повидимому, А. С-вич не догадывался, что выражается нелитературно.

Еще из любимых Неверовым характерно народных выражений можно отметить слово — „хитрый“, употребляемое в специфическом обороте — „а он (она) хитрый(ая)“; напр., про „Марью-большевичку“ говорится, что ее муж, который был „так плюгавенький — шапкой закроешь“, —

„развоюется с Марьей, стучит по столу, словно кузнец молотком.

— Убью! Душу выну...

А *Марья хитрая*. Начнет величать нарочно, будто испугалась:

— Прокофий Митрич! Да что ты?..“

Или в рассказе „Про червяка“ говорится, как баба, —

„чтобы избавиться от червя в огороде, стала молиться всем святым сразу, так как не знала точно, какому именно святому от червя полагается молиться. —

„А *червяк хитрый*. Марья угодникам молится, он бобы доедает. Знает, нет такого угодника против себя, ну и не боязно...“

Этою же народностью речи отзывается и трогательное слово — „*сынок*“, которое так хорошо и так кстати умеет употреблять Неверов, вкладывая его в уста матери (иногда—отца):

„Проснись скорее, *сынок*, случилось что-то у нас...“ („Как у нас война была“);

„Нездоровится мне нынче, *сынок*!“ („Ташкент — город хлебный“);

„Сходи, *сынок*, помойся после дороги...“ (Там же);

„Живой что ли ты, *сынок*?“ (Там же).

— Саня, *сынок*, запомни это... („Случай из жизни“).

Так же хорошо, ласково, по-народному звучит и характерно-народное обращение — „*дяденька*“:

— „Благодарим покорно, *дяденька*“ („Ташкент“);

— „Ну, *дяденька*, благодарим покорно“ (Там же);

— „А ты кто, *дяденька*?“ („Пропавшая школа“);

или это трагически-наивное обращение больной, умирающей бабы к... черному, безглазому „угоднику“, нарисованному на иконе:

— „*Дяденька* миленький, помоги Христа-ради!..“ („Повесть о бабах“).

Эта особая наивная ласковость Неверова выражалась, между прочим, и в его любви к „счастливым“, точнее говоря—прими-ряющим окончаниям своих произведений.

Неверов очень далек был от всякого подкрашивания жизни, от веры, „что все к лучшему в этом лучшем из миров“; он прекрасно знал все отрицательные стороны жизни, но у него была как-то особенно сильна вера в людей, вера в окончательную победу добра.

Произведений с трагическим, безысходным концом у него мало, если не считать за таковой мрачного настроения героев, что нередко встречается в ранних вещах. Среди этих послед-них можно отметить разве рассказ: „От неизвестных причин“ с концом подлинно трагическим (самоубийство не вынесшей гнета быта попадьи); из позднейших, — главным образом, траги-ческие вещи на темы о голоде.

В большинстве же случаев Неверов дает благополучное окончание, но приводит к нему через ряд страданий и ужасов, что как-то особенно по-хорошему настраивает чита-теля на бодро-примиренный лад. Как бы ни ужасна была жизнь, но жить все-таки стоит, так как возможна борьба за лучшую жизнь, — как бы хочет сказать Неверов. Таково окончание „Та-шкента“ — когда, после всех страданий, после смертей, ужасов голода, тифа, холеры, Мишка все-таки вернулся домой и решает заводить хозяйство. Такова повесть „Шкрабы“, таковы многие другие его вещи. Если произведение кончается и „неблаго-получно“, то Неверов умеет внушить читателю, что торжествует внутренняя правда; таковы, напр., рассказ „Музыка“ или пьеса „Бабы“. Это — необычайно характерная черта для психологии писателя, вышедшего из молодого, полного сил, пришедшего к власти, чуждого всякого пессимизма класса, точнее говоря — классов трудящихся, — перед которыми бесконечное будущее.

Композиционные приемы Неверова отличаются боль-шой простотой. Происходило это, думается, оттого, что по самому складу своего ума Неверов был человеком, который всегда очень трезво и очень четко мыслил. Ему всегда было ясно, что он хочет сказать, и он всегда прямо шол

к намеченной цели¹. Неверов — реалист, в лучшем и подлинном смысле этого слова. Он далек от простого фотографирования действительности, подобно грубым натуралистам, авторам так наз. „физиологических очерков“; он — реалист-синтетик с известной долей экспрессионизма. Этому нисколько не противоречит то обстоятельство, что в последние годы в его творчестве стали появляться заметные романтические струи. Неверовский романтизм не был проявлением той сплошь ирреалистической романтики, которая ведет к отрыву от жизни; это была романтика здоровая, романтика революционного пафоса, романтика осознавшего себя и утверждающего свое господство класса — таков его „Андрон непутевый“, например. И эта бодрая романтика, равно как и реализм трезвой и четкой мысли как нельзя лучше выражают и революционную психологию того коллектива, который породил Неверова и который он обслуживал.

Экспрессионизм Неверова сказывается, напр., в умении ввести в повествование нужный музыкальный мотив, который сразу создает должное настроение. Так, в рассказе „Новый дом“ читателя сразу, с первых же строк, охватывает характерный мотив беспокойства.

„В августе начались приготовления. По одной дороге возили бревна, по другой — известь, железо, кирпич. Старый сарай на старом дворе завалили ящиками, огород позади — ворохом натасканных бревен. С утра до вечера слышалось ржанье скученных лошадей, взвизгивание прижатых собак, растрепанные голоса мужиков. Ухали бревнами, громыхали железом, душили известью, затирая глаза, и тихая Аксеновская улица походила на странный шумящий базар, где нечего было купить...“².

Это настроение беспокойства непрерывно чувствуется потом и на протяжении всего рассказа, и тем самым мастерски подготавливается финал — гибель „героя“ — Григория

¹ Эта мысль довольно хорошо формулирована т. С. Ингуловым в его, в общем, довольно поверхностной статье о Неверове в № 1 журнала „На посту“ за 1924 г.: „Неверову идея его произведений была ясна, — пишет т. Ингулов, — до последней запятой. Оттого так четки и закончены все его рассказы и повести оттого так легко читаются и смотрятся его пьесы“. — С. Ингулов: „Я жить хочу. Об А. С. Неверове“.

² Любопытно, что это описание стройки, по словам П. А. Неверовой, создано А. С-чем под впечатлением перестройки школы: и здесь он остался верным себе — все брать из жизни, ничего не „сочинять“.

Лукича — и всего строя, в котором он чувствовал себя так хорошо.

Подобный же мотив беспокойства проводится и в романе „Гуси-лебеди“. Великолепно „музыкально“ выдержаны и рассказы о голоде или такие вещи, как рассказ „В садах“ и многие другие.

Основною формою произведений Неверова, не считая драматических, был повествовательный рассказ, очень простой по своему построению. Во всех его рассказах, как самых маленьких, так и больших, вплоть до настоящих повестей („Ташкент — город хлебный“), обычно разворачивается одна хронологическая нить повествования. Неверов быстро вводит читателя в круг действия и быстро приводит его к развязке. В большинстве рассказов есть одно главное лицо, судьба которого преимущественно и интересует автора.

Лишь в наиболее сложном из своих произведений — в романе „Гуси-лебеди“, Неверову пришлось несколько отступить от элементарно простой манеры повествования, и он попытался изобразить ход событий в нескольких планах, но такого сложного построения, какое, напр., дают в своих романах Л. Толстой, Арцыбашев или Пант. Романов, у Неверова не получилось. От основного фона жизни революционной деревни у него отделяются лишь несколько побочных или параллельных русл; таковы, напр., сцены, где изображается жизнь духовенства, история учительницы Марии Кондратьевны, затем идут отдельные ответвления, с фиксацией внимания на части действующих лиц; таково, напр., описание бегства группы крестьян-большевиков из села. Впрочем, о романе, как целом, говорить затруднительно, так как он не доведен до конца и сведения всех нитей воедино мы не видим.

Из других форм, которыми пользовался Неверов, можно выделить форму „маленького рассказа“ — „стихотворения в прозе“. Эти маленькие рассказы с эпическим характером (о голоде) ему удались блестяще, построение их также хронологически-повествовательное; менее удались лирические „стихотворения в прозе“ (о любви), но они любопытны, как показатель искания Неверовым новой формы¹.

¹ См. статью С. В. Шувалова „Композиция рассказов Неверова“ в упом. сборнике „А. С. Неверов“, изд. „Земля и Фабрика“, стр. 84—96.

В заключение нельзя не упомянуть еще о работе Неверова над текстом своих произведений. Выше уже приводились сообщения о том, как ревниво он отделывал свои вещи, переписывая их раз по 15 (или даже „чуть не по 50“ раз). По словам П. А. Неверовой, на „Ташкент“ А. С-вич исписал целую стопу бумаги.

Как подлинно „взыскательный художник“, Неверов не останавливал работы над текстом своих произведений, и после их напечатания и коренным образом переделывал свои вещи, готовя их к новому изданию, следуя в этом отношении по стопам всех наших великих писателей, начиная с Пушкина.

Если взять ранние рассказы Неверова и сравнить их с исправленным им текстом, привлекая сохранившиеся рукописи, то нетрудно установить четыре редакции (считая за 1-ую первопечатный текст). Обычно Неверов поступал так: переписывая свои ранние рассказы из „Жизни для всех“ или другого журнала, он вносил некоторые изменения, так что получалась 2-ая редакция. Затем он принимался за кардинальное исправление текста, что давало 3-ью редакцию, уже значительно отличающуюся от 2-ой. Сравнивая с этим текстом — печатный последнего издания, мы находим в нем еще ряд изменений, внесенных, повидимому, автором в корректуре (4-ая редакция). Сравнение всех 4-х редакций показывает, что Неверов неуклонно стремился к краткости, сжатости, выразительности, яркости. Он вычеркивал все лишнее, особенно свои ремарки и пояснительные слова, причастия и деепричастия, все, что замедляет ход действия. Во вступительной статье к I тому „Собр. соч.“ Неверова (стр. 36—37) мною сделано сравнение всех 4-х редакций рассказа „Последнее средство“.

Приведу здесь еще несколько примеров, по которым видно, как текст выигрывает от исправлений; как повествование становится более динамичным и стремительным; как в результате уничтожения авторских помарок получается яркий и живой диалог.

„Ищу [,] . [сказал Василий.] ¹

— Беда [— ! вздохнул Никандра]...

... „Доит? [спросил дьякон, пальцем показывая на корову.]

... „Посмотрим! [улыбнулся дьякон]...

... „Что вы, батюшка? [улыбнулся Василий]...“ — („Последнее средство“).

¹ В прямых скобках — зачеркнутое в рукописи.

„— Сколько? — [спрашивает Сорокин].

— Рупь сорок четыре — [отвечает Степан] — (рассказ „Среди ополченцев“).

Начало рассказа „Кой о чем“ исправлено так:

До исправления:

„Вчера ездил по сбору в Гунево.

Гунево не село и не деревня. В нем построена церковь, но стоит без колоколов. Есть школа, но окна в ней зашиты досками, а дверь на замке: нет учителя. Был, да увезли на войну, а другого не шлют, и теперь ребятишкам «вакат»“.

После исправления:

„Гунево не село и не деревня. Церковь без колоколов. Окна в школе зашиты досками, дверь на замке: нет учителя. Был — увезли на войну, другого не шлют“.

Не менее любопытны исправления и в рассказе „Егорка родился“.

До исправления:

„Отец сидит у стола и думает...

Отец сидит у стола и смотрит на печь.

Отец сидит с вытянутыми руками и торопливо глотает воздух.

Подходит о. Нимподист опять в чапане, в бобровой шапке и обиженно трясет его за плечи.

— А-а. Павел! Уснул, што ли ты? Ну и нашол время. Проводи-ка меня. Темнота-то какая... Слышишь, что ли?“

По исправлении:

„Отец у стола думает...

— Отец у стола смотрит на печь.

Сидит отец с вытянутыми руками, торопливо глотает воздух.

О. Нимподист обиженно трясет за плечи.

— Павел! Уснул, што ли ты? Проводи-ка меня... Слышишь?“

В некоторых случаях Неверов по несколько раз переправлял текст, прежде чем останавливался на окончательном варианте. Напр., в рассказе „Пропавшая страна“ первоначально было написано: „Он даже немножечко посердился на Саньку“... Переписывая, Неверов выкинул слово „немножечко“. Потом зачеркнул „Он“ — получилось: „Даже посердился на Саньку“... Потом зачеркнул „Даже“, и наконец восстановил оба первые слова, и опять получилось: „Он даже посердился на Саньку“.

Далее, была фраза: „Наступила весна“. Неверов зачерки-

вает слово „Наступила“, и в слове „весна“ переправляет „в“ на „В“. Затем зачеркивает все, и восстанавливает: „Наступила весна“. И т. д.

Примеров можно было бы еще привести без конца, но полагаю, что и этих достаточно для того, чтобы видеть, с какими кропотливейшими усилиями создавал Неверов свой исключительно выразительный язык.

Очень интересна работа, проделанная Неверовым над пьесой „Бабы“ уже после появления ее в свет. Сравнивая два издания пьесы, вышедшие при жизни автора ¹, невольно поражаешься его чутью ко всякого рода длиннотам и второстепенным деталям. Достаточно указать, что во 2-м варианте пьесы число главных действующих лиц — тринадцать, в то время как в первом — действующих лиц — двадцать два ². И при

¹ а) Александр Неверов „Бабы“. Пьеса в 4 действиях. М. 1920. Гиз. Стр. 88. (Серия „Красная Книжка“, № 23).

б) Народный театр. Александр Неверов. Пьесы. Изд. „Красная Новь“. Главполитпросвет, М. 1923 г. — „Бабы“. Пьеса в четырех действиях. Издание 2-ое, переработанное (стр. 5—55).

² Привожу список действующих лиц „Баб“ по 1-ой редакции, так как это издание является теперь библиографической редкостью.

1. Крутов, Тихон Кузьмич, лет 48.
2. Матрена, его жена, тех же лет, больная.
3. Дарья, их дочь, 28 лет, солдатка.
4. Филька, их сын, 26 лет, солдат.
5. Катерина, Филькина жена, 23 лет.
6. Федосья, мать Катерины, 64 лет, вдова.
7. Кузьма, отец Тихона, 80-летний старик.
8. Федор Гаврилыч, старик, лет 58—60, глухой, сосед Тихона.
9. Странник, старик, лет 55.
10. Герасим, чернобородый мужик, 35 лет, „бракованный“.
11. Иосиф, военнопленный австриец, лет 30.
12. Артур, „ „ „ 32.
13. Домна, 25 лет, смелая, решительная баба.
14. Авдотья, 28 лет.
15. Анна, 27 лет.
16. Прасковья, 34 лет.
17. Наталья, 24 лет.
18. Марья, гнусавая, 32 лет (заражена сифил[исом]).
19. Семен Никитич, волостной старшина, лет 48—50, крепкий, румяный.
20. Иван Николаич, волостной писарь, лет 33, потасканный.
21. Урядник, лет 32, франт.
22. Иван Клементыч, староста, немножко бестолковый мужик. Десятник, понятые, мужики, бабы, девки, ребята, слепой нищий с поводырем, похоронное шествие, голоса за сценой.

Солдатки.

(Действие происходит в начале осени, во время русско-германской войны, в последний год до революции).

Во второй редакции исключены действующие лица, обозначенные мною под №№ 3, 9, 10, 12, 18, 19, 20; №№ 21 и 22 — „обезличены“; кроме того, отсутствуют указания на возраст и некоторые пояснения автора.

таком сокращении замысел пьесы, основные ее линии несколько не пострадали, разве что исчезли некоторые характерные детали¹.

Неудивительно, что при таком строгом и ревнивом отношении к форме и стилю Неверовым на протяжении его творческого пути были сделаны большие успехи. И если в ранних произведениях его стиль не блещет еще никакими особо оригинальными чертами, и характерные признаки неверовской речи попадают случайно, невыдержанно и редко, то чем дальше, тем определеннее идет Неверов к своей цели, — к выявлению своего литературного „Я“.

Уже его произведения 1916—17 г.г. представляют значительный прогресс по сравнению с вещами более ранних лет. Но особенно ярко выковался стиль Неверова в последние годы, начиная с 1919, 1920-го. С этого времени он пишет лучшие свои вещи, наиболее значительные по содержанию, в них он находит и свой стиль, доводя его до совершенства.

Венцом творчества Неверова надо считать два последние года его жизни — 1922 и 1923. Тут пишется „Андрон“, „Гуси-лебеди“ (2-ая часть)², „Ташкент“, „В садах“, „Полька-

¹ Напр., действие I начиналось так:

„Теплый праздничный день. Деревенская улица—ряд небольших изб. На завалинке сидят две бабы: Наталья — с ребенком и Авдотья — с вязаньем в руках. Рядом с ними на земле Анна ищет в голове у Прасковьи. В соседней избе плачет ребенок. Слышен голос, утешающий его: „Не плачь, не плачь... О-о, о-о, о-о... О-о, о-о, о-о... Не плачь!“ За сценой стучат топором. Мужской голос кричит: „Марфушка, иди за водой!“ Улицей пробегают трое ребятешек с погремушками на шее. Остановившаяся около баб, мальчишка, изображающий кучера, натягивает вожжи (веревочки). кричит: „Тырру!“ Ребятишки топчутся на одном месте, мотая головами, ржут по-жеребьячи: „И-го-го!“

Авдотья (на ребятешек). Шишь вы отсюда!

Ребятишки (ржут). И-го-го! (Брыкают ногами).

Авдотья. Я вот вас... (Замахивается. Ребята убегают).

Анна. Эх, кума, и вшей у тебя... А гнид-то... Полна голова.

Прасковья. Недавно завшивела... И т. д.

Эту живую сценку с ребятишками Неверов при переделке безжалостно исключил, т. к. она прямого отношения к действию не имеет. Во 2-ой ред. пьеса начинается так:

У л и ц а.

Наталья, Авдотья сидят на завалинке. Рядом с ними Анна ищет в голове у Прасковьи. В соседней избе плачет ребенок. Мужской голос за сценой кричит: „Марфушка, иди за водой!“

Анна. Эх, кума, и вшей у тебя — полна голова.

Прасковья. Недавно завшивела... И т. д.

В дальнейшем ходе пьесы исключены целые сцены. Детальное сравнение обоих вариантов „Баб“ могло бы стать предметом специального исследования.

² Т. к. „Гуси-лебеди“ писались в течение пяти лет, с 1918 по 1923 г., то естественно, что конец их (2-я часть) несколько отличается по манере письма от начала (1-ой части), которое напоминает по приемам рассказы среднего периода

мазурка“ и другие вещи¹. Стиль Неверова становится ярким, четким, стремительным, оригинальным и в то же время начинает приобретать характерную напевность.

Но, найдя „свое лицо“, Неверов не остановился. Последние вещи показывают, что искания его продолжались... Куда бы они привели: к новым достижениям, или к срыву — неизвестно. Смерть пресекла их.

Нам остается брать то, что Неверов успел создать, и ценить его достижения по лучшим его произведениям, которые навсегда останутся в литературе, как один из самых ярких и талантливых памятников нашей великой эпохи, эпохи тяжелых потрясений и многих страданий, но в то же время эпохи величайших взлетов, на которые никогда до сих пор еще не отваживалось трудящееся человечество, — эпохи начала подлинного его освобождения через диктатуру пролетариата в союзе с крестьянством.

(1916—19 г.г.), в то время как 2-я часть романа сближается по стилю с „Ташкентом“ и другими произведениями последних годов (см. мою вводную статью к VII т. Собр. соч. Неверова). Повидимому, это создавал и сам автор. Среди нескольких сохранившихся получерновых (так называю рукописи, переписанные Неверовым на машинке с последующими исправлениями) рукописей „Гусей-лебедей“ есть одна, из которой видно, что Неверов пытался, на-ряду с другими исправлениями, заменить все прошедшие времена глаголов — настоящими. Однако, проделав довольно большую работу (в рукописи содержится 18 первых глав романа), Неверов признал исправления неудачными — на одной из страниц мы видим обратную замену — уже по исправленному — настоящим времен прошедшими. Печатный текст 1-й половины романа подвергся значительным изменениям, сделанным карандашом по огтиску из журнала „Молодая Гвардия“, где он был впервые напечатан. Среди рукописей Неверова сохранился между прочим, листок с такой характерной записью:

„Повесть Гуси-лебеди задумана еще в 1918 г. Бесконечно переделывалась, редактировалась. Было переписано на машинке около 90 страниц. Сегодня, 1-го марта, прочел ее мельком; она меня не удовлетворила. Почувствовал длинноты и скрепя сердце, решил переделывать в тысячу первый раз. Повесть эта — камень который ношу четвертый год. Что получится. Автор.

1922 г. 1 марта“.

¹ Среди попавших в мое распоряжение (уже после написания этой книги) рукописей Неверова имеется богатейший материал для изучения истории текста „Андрона непутевого“, „В садах“, „Маленьких рассказов“ и мн. др. его произведений. См. Добавления, стр. 206.

СОУНБ им. В. Г. Белинского
<http://book.ugais.ru/>

УДК 62-50
62-50

аБ, 2

рагон

содерж.

Цена 1 р. 60 к.



СКЛАДЫ ИЗДАНИЙ:

Ленинград: просп. 25 Октября, 52, магазин „Книжные Новинки“. Телеф. 5-45-77

Москва: Московское отд. изд-ва „ПРИБОЙ“, Лубянский пассаж, №№ 47, 48, 49. Телеф. 2-24-09